

**Вниманию владельцев
жилых домов, дач,
садовых домиков!**

● Госстрах предлагает новую форму обслуживания — добровольное комплексное страхование строений и домашнего имущества по единому страховому свидетельству.

● По одному договору можно застраховать принадлежащие Вам строения и домашнее имущество на случай повреждения или уничтожения в результате стихийных бедствий, пожара, а также других неблагоприятных событий, предусмотренных договором.

● Договор заключается сроком на 1 год, минимальная страховая сумма 5000 рублей, страховой платеж 35 копеек со 100 рублей страховой суммы.

● Страховое возмещение выплачивается в размере фактического ущерба, но не выше страховой суммы, независимо от того, причинен ли ущерб строениям или домашнему имуществу.

● Подробную информацию о проведении комплексного страхования строений и домашнего имущества, а также заключить договор можно в инспекции Госстраха или у страхового агента.

Госстрах РСФСР

ISSN 0132-2095. Б-ка «Огонек». 1989. № 32. 1—64.



ОГОНЁК

№ 32

1989



Валентин БЕРЕСТОВ

**РАННЯЯ ЛЮБОВЬ
ПУШКИНА**

М О С К В А
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«П Р А В Д А»

Издается с января 1925 года

Валентин БЕРЕСТОВ

РАННЯЯ ЛЮБОВЬ
ПУШКИНА

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1989

Валентин БЕРЕСТОВ

Валентин Дмитриевич Берестов родился в 1928 г. в городе Мещовске Калужской области в семье учителя. В 1942 году в Ташкенте показал свои первые стихи К. И. Чуковскому. В годы войны его стихи заинтересовали Анну Ахматову, А. Н. Толстого, С. Я. Маршака.

В 1951 году окончил исторический факультет МГУ по отделению археологии. С 1947 по 1967 г. участвовал в работах Новгородской археологической и Хорезмской археолого-этнографической экспедиций. В 1955 г. окончил аспирантуру Института этнографии им. Миклухо-Маклая АН СССР.

Первые стихи опубликованы в 1946 году. В 1957 году вышел первый сборник стихов «Отплытие» и книжка для малышей «Про машину». В 60-х годах печатает свои «археологические повести», собранные потом в книгу «Государыня пустыня» /1968/. Выпустил немало стихотворных книг, лирических и детских.

С 1980 года в «Неделе», «Литературной России», журналах «Вопросы литературы», «Знание — сила», «Огонек» печатаются его статьи о Пушкине. Предлагаемая работа полностью публикуется в «Пушкинской библиотеке» издательства «Книга».

НЕВОЛЬНАЯ ИСПОВЕДЬ ПУШКИНА

«РОЖДЕНИЕ МОЕ»

В революционные эпохи, как при переходе из возраста в возраст или из одного времени года в другое, все видится в новой связи и в новом свете. Даже Пушкин. Давно ли Т. Г. Цявловская, изучив свежую публикацию, восклицала: «Новый вклад в отечественное дантесоведение!» А Эдуард Бабаев меж юбилеями Льва Толстого и Пушкина шутил: «Отметили Софью Андреевну, теперь почтим Наталью Николаевну!»

И вдруг выяснилось, что про целую треть жизни Пушкина почти нечего сказать. Всех раззадорил Ю. М. Лотман. В новой яркой биографии поэта он заявил, что тот был «человеком без детства», что «детство он вычеркнул из своей жизни». Но постепенно все менялось. Празднества в честь Пушкина-ребенка в подмосковном Захарове, хлопоты общественности о судьбе пушкинских мест в Москве и Подмосковье. И, наконец, в 1987 году — сразу две книги с отдельными главами о долищеском, допожарном, довоенном детстве поэта. В «Русском гении» Н. Н. Скатова сказано, что «подобного дара детства потом уже не получит ни один из русских поэтов и писателей», а в книге «Жизнь Пушкина, рассказанная им самим и его современниками» (составитель, комментатор и автор вступительных очерков В. В. Кунин) нам дана возможность как бы своими глазами увидеть Пушкина-ребенка и самим делать выводы из документов.

Итак, дом Бутурлиных. Поэт-моряк торжественно возглашает стихи с такими строчками:

И этот кортик,
И этот чертик!

Малыш, который любит сидеть со взрослыми и слушать стихи, хохочет. Мать делает ему знак уйти. Гости осуждают шалуна. А ученый француз Жилле жмет руку мальчику: «Чудное дитя! Как он рано начал все понимать!» Вот ключ к детству Пушкина. Оно и в самом деле необычное. Не всякий ребенок станет сидеть в компании взрослых, слушать стихи и разговоры, не каждому это и позволяют. Мать хочет только,

чтобы ребенок при этом вел себя хорошо. Но есть люди, которые и в его шалости видят истинный интерес к миру литературному, духовному, раннее понимание и вкус.

И все же Ю. М. Лотман прав: Пушкин зачеркнул свое детство. Вернее, он его утаил. В начале 20-х годов он писал записки, где, конечно, речь шла и о детстве. Но после поражения декабристов вышло так, что записки «могли замешать многих» и увеличить число жертв.

Есть и программа новых записок. Поэт хотел написать их в 30-х годах. А в ней важные пункты, посвященные детству. Скажем, такие, как пункт о воспитании отца /видимо, оно отозвалось на сыне!/ или «Свадьба отца», или «Рождение мое», или «Первые впечатления», а также «Первые неприятности» (значит, их какое-то время не было), и даже «Ранняя любовь». Итак, одни записки уничтожены, другие не написаны, Пушкин остался человеком без детства.

И все же он написал о своем детстве и указал, где и как искать сведения об этом предмете. В ноябре 1825 года Пушкин пишет Вяземскому: «Зачем жалеешь ты о потере записок Байрона? черт с ними! слава богу, что потеряны. Он исповедался в своих стихах невольно, увлеченный восторгом поэзии... Мы знаем Байрона довольно». Поищем в невольной исповеди Пушкина то, что относится к первым 12 годам его жизни.

Пункт «Рождение мое». Об этом рукою Пушкина написано вот что: «Оно, кажется, и мудрено помнить свое рождение, но рассказы, слышанные в детстве, так сильно врезаются в память нашу, что впоследствии нам кажется, что мы были свидетелями всего, о чем в самом деле мы только слышали». Так о чем слышал Пушкин в связи со своим рождением? Что врезалось ему в память? Чему он потом как бы стал свидетелем? Предположение об этом мы выскажем ниже, а пока отметим, что в приведенной записи речь идет о рождении П. В. Нащокина.

Один раз поэт заставил друга продиктовать ему свои записки, другой усадил его писать, а сам правил написанное, и оба раза записки обрывались на впечатлениях о родне, о слугах и раннем детстве Нащокина, будто остальное Пушкина и не интересовало. Нащокину о его рождении рассказывал буфетчик Севолда, подавший по сему случаю рюмку мадеры Нащокину-старшему, который распил ее вместе «с крепостным подлекарем, вывезенным из Польши жидком». (Так все предрассудки рухнули перед великим событием — рождением человека.)

А вот еще одно рождение. Речь идет о Льве Александровиче Пушкине, деде поэта. «Вторая жена его, урожденная Чичерина, довольно от него натерпелась. Однажды велел он ей одеться и ехать с ним куда-то в гости. Бабушка была на сносях и чувствовала себя нездоровой, но не смела отказать. Дорогой она почувствовала муки. Дед мой велел кучеру остановиться, и она в карете разрешилась — чуть ли не моим отцом. Родильницу привезли домой полумертвую и положили на постель всю разряженную и в бриллиантах».

«Все это знаю я довольно темно,— замечает поэт.— Отец мой никогда не говорит о странностях деда, а старые слуги давно перемерли». Пушкин любил не только мать своей матери, но и сестру матери отца, «бабушку Чичерину», так он ее величал. Биографам поэта нужно обратиться на нее внимание. Узнав о смерти Варвары Васильевны в июне 1825 года, в письме из Михайловского он умолял Дельвига: «Ради бога, напиши мне что-нибудь: ты знаешь, что я имел несчастье потерять бабушку Чичерину и дядю Петра Львовича — получил эти известия без приготовления и нахожусь в ужасном положении — утешь меня, это священный долг дружбы (сего священного чувства)». Горе, которое было трудно вынести в одиночку.

Так что же все-таки было сказано при рождении Пушкина? Почему этот пункт выделен? Намек на это, кажется, звучит в черновиках «Цыган». В таборе у опростившегося беглеца из большого света рождается сын, наполовину цыганенок:

Прими привет сердечный мой,
Дитя любви, дитя природы,
И с даром жизни дорогой
Неоценимый дар свободы!..

А что было бы, родись такой ребенок не в таборе, а в той среде, откуда вышел Алеко? Судя по черновикам, над этим бьется мысль поэта: «Безмолвны здесь предрассужденья И нет их раннего гоненья Над вольной люлькой твоей». Значит, где-то когда-то над другой люлькой эти предрассужденья отнюдь не молчали, и поэт воспринял их как «раннее гоненье». Под его пером возникает то «крик предрассужденья жадный», то «крик предрассужденья хладный», то «смех предрассужденья» над младенцем, он ищет, как бы поточнее это назвать. «Не страшусь его презренья Над дикой люлькой твоей», — успокаивает себя и сына добровольный изгнанник. И опять об этой бесчеловечной реакции на улыбку младенца: «Твоей улыбки средь степей / Не встретит смех предрассужденья/ И нет безумного презренья /Над вольной люлькою твоей». «Безумного», то есть глупого, бессмысленного, ничем не оправданного.

Представим себе, что не в степи, а в дворянском доме кто-то наклоняется над люлькой, и перед ним даже не цыганенок, а несомненный «потомок негров безобразный», как сказал о себе поэт. И кто-то сберег и потом передал мальчику воспоминание о чем-то смехе или обидном восклицании, вызванном привычными предрассудками. Кто и что крикнул или посмеялся над младенцем, кто запомнил это и потом пересказал Пушкину, мы, видимо, никогда не узнаем. Но современникам запомнилась реакция мальчика на произвольное «Посмотрите, ведь это настоящий арабчик», которое вырвалось у поэта Дмитриева. «По крайней мере отличусь тем и не буду рябчик», — ответил ребенок, в свою очередь, обращая внимание на внешность рябоватого И. И. Дмитриева. Примерно то же в записках сестры поэта: «Однажды, гуляя с матерью,

отстал и уселся посреди улицы; заметив, что одна дама смотрит на него в окошко и смеется, он привстал, говоря: «Ну, нечего скалить зубы».

«Неоценимый дар свободы»... Эта свобода с самого рождения необычного мальчика как бы стеснена из-за того, что африканская кровь, полученная им в наследство от матери, проявилась слишком сильно:

О лучше, если б мать моя
Меня родила б в юрте дымной
Или в кавказском табуне
И без преграды весь бы мне
Открылся мир гостеприимный.

В 1831 году в «Литературной газете» Пушкин процитировал строки Делорма, посвященные рождению сына у Виктора Гюго: «Это еще один мальчик; небо даровало его вам. Прекрасного, свежего, радостно улыбающегося этой горькой жизни».

Рождение человека — для Пушкина историческое событие, включение в историю. Сам младенец изначально прекрасен и создан для прекрасной жизни. Мир тоже изначально прекрасен и гостеприимен. Младенец создан для прекрасной жизни, достойной человека, хотя она слишком часто оказывается горькой. Уважение к личности, уважение к летам, как выразилась Татьяна Ларина, вот чему, как и любви, у Пушкина все возрасты покорны, с самого рождения. Детство — это надежда. Голос ребенка — голос самой надежды. «Надежда им лжет детским лепетом своим», — сказано про гадающих стариков. Детский лепет — тайна из тайн, чудо из чудес:

А речь ее... какие звуки могут
Сравниться с ней — младенца первый лепет,
Журчанье вод, иль майский шум небес,
Иль звонкие Баяна Славья гусли.

Это тоже одно из впечатлений раннего детства поэта и имеет прямое отношение к пункту «Рождение Льва», нежно любимого брата.

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Пункт «Первые впечатления». Поэт придает им, как и Толстой в «Исповеди», великое значение. «Я начинаю себя помнить на большом, барском дворе сидящим в песке (что почитается средством противу так называемой английской болезни). Около меня толпа нянек и мамушек и шестнадцать дворовых мальчишек, готовых попеременно таскать меня во весь дух в коляске с барского на черный двор и на деревенский базар», — пишет Пушкин под диктовку Нащокина. Огромный обоз Отец хочет взять малыша с собой, а тот рвется к няне.

Еще первое впечатление: «Я начинаю помнить себя с самого нежно-го младенчества/.../ Солнце светит во все окошки, и мне очень весело. Монах с золотым крестом на груди благословляет меня, в двери выносят красный длинный гроб». Это хоронят мать героя «Русского Пелама».

И наконец первое впечатление Петра Великого: «Рассказывают, будто бы на третьем году его возраста, когда в день именин его, между прочими подарками, один купец подал ему детскую саблю, Петр так ей обрадовался, что, оставя все прочие подарки, с нею не хотел даже расставаться ни днем ни ночью. К купцу же пошел на руки, поцеловал в голову и сказал, что его не забудет».

Детской сабелке под подушкой Петра Первого у Пушкина соответствует воображаемая завороженная свирель, ее оставила «меж пелен» муза, которая, «детскую качая колыбель», его «юный слух напевами пленила». В стихах «Наперсница волшебной старины» муза впервые в истории мировой поэзии является в виде веселой старушки в шубуне, «в больших очках и с резвою гремушкой». (В Захарове их называют «громушками». Одну из них я видел в музее Клуба друзей игры в Лесном городке под Москвой). В отрывке «Сон» — еще одна мамушка, на сей раз сказочница. Так и видишь ее «в чепце, в старинном одеянье», когда она «духов молитвой уклоня», шепотом рассказывает малышу о мертвецах (не сюжет ли «Утопленника?»), о подвигах Бовы, а тот не шелохнется от ужаса, едва дыша, прижмется под одеялом, глядя на «под образом простой ночник из глины», который «чуть освещал глубокие морщины» и «длинный рот, где зуба два стучало». Ночник гасился, мамушка уходила, и в темноте, как это, наверное, со всеми бывает в младенчестве, возникали уже другие видения, они на «ложе роз» слетали крылатыми волшебницами и волшебниками, и малыш превращался в могучего русского богатыря, который «среди муромских пустыней встречал лихих Полканов и Добрыней».

И в вымыслах носился юный ум.

Таким он хотел быть и в старости, до которой не дожил:

Над вымыслом слезами обольюсь.

А днем ему вручала свою семиствольную цевницу муза в античном наряде. Ее нетрудно было вообразить. Она была и на фронтонах домов, и на сосудах, и в эстампах, которые показывали гостям: ей верили и клялись в верности и отец, и дядя мальчика, и столько их друзей. Мальчик играл на завороженной свирели, а потом муза, чтобы развлечь его и научить, сама ее брала. И так было «с утра до вечера в немой тени дубов». Восприятие малого ребенка: дуб над ним полон звуков, шелеста, пения птиц, а тень внизу движется, но молчит.

Пушкин предельно точен. Он помнит себя не «с минут бесчувственных рожденья», не оставшихся в памяти, а с младенчества.

С младенчества дух песен в нас горел,
И дивное волненье мы познали —

вспомнит он 19 октября 1825 года.

Это — чудо самопознания. Он помнит даже свои ночные и дневные видения в классическом возрасте от двух до пяти. Задолго до Чуковского поэт открыл для себя, что в этом возрасте сказочность и непреодолимая тяга к стихам — обыденная норма. Мысль о детстве приходит ему на каждом шагу. Вот он славит Гнедича за перевод «Илиады». Пророк выносит скрижали «бессмысленным детям». И тут же «прямой поэт», как Пушкин-ребенок, летит «во след Бовы иль Еруслана». Все начинается с видений детства. Даже «Онегин». Это из черновика первой главы:

И детства милые виденья
В усталом, томном вдохновеньи,
Волнуясь легкою толпой
Несутся над моей главой.

Вот с чего начинается пушкинский творческий процесс, вот в чем его тайная свобода!

Если мы попробуем снять из этого сугубо «взрослого» романа все «детства милые виденья», если исчезнут из романа все, кого мы видим детьми, что останется? Уйдут «мальчишек радостный народ», который коньками «звучно режет лед», и дворовый мальчик, изображающий коня, с седоком-собачонкой в санях. Уйдут и те дворовые мальчишки, которые защитили Татьяну от собак в опустевшем имении Онегина. Уйдут не только внук няни, передавший письмо Татьяны Онегину, но и сама няня со страшной картиной венчания двух детей («мой Ваня моложе был меня, мой свет. А было мне тринадцать лет»). Уйдет Татьяна, которая «в семье своей родной Казалась девочкой чужой» и «дитя сама, в толпе детей Играть и прыгать не хотела». Уйдут Ольга, дтя которой няня собирала на широкий луг «всех маленьких ее подруг», то есть крестьянских девочек, и «чуть отрок» Ленский, «свидетель умиленный ее младенческих забав». Уйдет Онегин, петербургский ребенок, который «был резов, но мил». Исчезнет и сам автор, отрок, безмятежно расцветавший в садах Лицея. Так что же останется? Светское общество? Но Пушкин решительно отказывает ему во взрослости:

Среди лукавых, малодушных,
Шальных, балованных детей...

На черновике второй песни «Руслана и Людмилы» в соседстве с профилем Карамзина нарисован нарядный мальчик. Кнутиком он не дает упасть кубарю, деревянному волчку. Пушкин изобразил этого мальчика, когда писал, как Рогдай гонится за Фарлафом. Тут какая-то детскость, интонация мальчишеской игры:

Презренный, дай тебя догнать!
Дай голову с тебя сорвать!

Чем объединены мальчик с кубарем и профиль великого историка? В «Городке» Пушкин-лицеист, ненароком заглянув в детство, вспомнил шуто-героическую пьесу Крылова «Поддипа»:

В трагическом смятеньи
Пленные цари,
Забыв войну, сраженья,
Играют в кубарь.

Он и царям откажет во взрослости. Вот как отзовется эта связанная с детством тема в одном из предсмертных творений Пушкина:

Игралища таинственной игры,
Метались смущенные народы;
И высились и падали цари;
И кровь людей то славы, то свободы,
То гордости багрила алтари.

СЧАСТЬЕ

Итак, Пушкин в своих сочинениях невольно, сам того не подозревая, очень многое рассказал о своем детстве. Но ему не поверили. Много из сказанного им, видимо, сочли поэтическим преувеличением, даже штампом. Сюда входят, например, многочисленные уверения поэта, что в детстве он был счастлив.

И когда он пишет: «С подругой обнимуся Весны своей златой», это означает, что лицеист Пушкин вспомнил, как в Москве и в Захарове он играл со своей старшей сестрой Ольгой. Мы можем даже стать свидетелями их детской игры, когда —

...моську престарелу,
В подушках поседелу,
Окутав в длинну шаль
И с нежностью лелея,
Ты к ней зовешь Морфея.

Сие означает, что Ольга в детстве играла, как с куклой, со старенькой комнатной собачкой, закутывала ее в шаль как ребенка, клала на подушки и баюкала.

Края Москвы, края родные,
Где на заре цветущих лет
Часы беспечности я тратил золотые,
Не зная горестей и бед.

Снова часы детской беспечности названы золотыми. И как по-пушкински сказано о времени, даже самом счастливым: «тратил». Неужели и эти строки из «Воспоминаний в Царском селе» были поэтическим преувеличением, одическим штампом? А возьмем странные строки из стихотворения «Мечтатель». Они обращены к музе:

На слабом утре дней златых
Певца ты осенила,
Венком из миртов молодых
Чело его покрыла,
И, горним светом озарясь,
Влетела в скромну келью.
И чуть дышала, преклонясь
Над детской колыбелью

Что это значит? Ведь муза прилетает к тому, кто бряцает на лире, то есть пишет. Зачем она младенцу, лежащему в колыбели? И за что она увенчала этого младенца венком из молодых миртов? Ведь он еще ничего не создал! И не слишком ли много берет на себя поэт, не в первый и не в последний раз утверждая, что богиня песнопений увенчала его еще в колыбели, склонялась над ним, и даже преклоняясь перед ним, подобно тому, как цари, пастухи и волхвы преклонялись перед избранным младенцем? И вообще где она в допожарной Москве взяла мирты для венца? А вот это единственный вопрос, на который мы можем ответить. В «Путешествии из Москвы в Петербург» поэт вспомнит сады своего детства: «Плошки и цветные фонари не освещают английских дорожек, ныне заросших травой, а бывало уставленных миртовыми и помаранцевыми деревьями». Вот они, московские мирты! А муза могла слететь с любой виньетки в книге, с фронтона любого дома, украшенного барельефами на темы античности. Шутки шутками, но ведь Пушкин не только ощущал себя избранным с младенчества певцом, но и помнил счастье, испытанное еще в колыбели и связанное именно с поэзией. И еще. Пушкин не утверждает, что муза преклонилась перед ним, как перед избранным младенцем, в самый день его рождения. Если бы он так считал, это было бы дешевым кощунством и штампом, достойным пародии. Минуты рождения поэт еще в лицейских стихах назвал бесчувственными. Он помнил другое время, когда маленький человек уже способен упиваться колыбельными, а потом сказками.

Пушкин не говорит, что человек рожден для счастья. Он утверждает нечто другое: человек рождается счастливым. Даже если он — сирота, подкидыш. В жестоком «Романсе», том самом, где «под вечер осенью ненастной В пустынных дева шла местах», несчастная мать, кладя «тайный плод любви несчастной» на порог чужого дома, баюкает его последней материнской колыбельной:

Пока лета не отогнали
Беспечной радости твоей,
Спи, милый! горькие печали
Не тронут детства тихих дней.

В сущности, великий поэт уверяет нас, что в раннем детстве он был счастлив, как счастлив всякий здоровый ребенок. Даже в унылейшем послании «Князю А. М. Горчакову» поэт, говоря о своем жребии, презрев требования жанра, сделал исключение для раннего детства:

Две-три весны, младенцем, может быть,
Я счастлив был, не понимая счастья.

Как поэт он понял, осознал, что в его жизни было счастье и не собирается от него отказываться. Эти две-три весны всегда с ним, они нужны ему:

Они прошли, но можно ль их забыть?

Детство для него — «краткий путь, усыпанный цветами, которым я так весело протек». В послании Горчакову есть нечто пророческое. И когда он счел юность Горчакова «зарей весны прекрасной», а свою юность осеннею зарей, то, как оказалось, он был прав. Автору послания и его адресату по 18 лет. Горчаков к тому времени не прожил и четверти своей долгой жизни. А Пушкин уже подходил к перевалу, ко второй половине ее. «Они прошли, твои златые годы», — писал он товарищу. Златые годы, златые дни весны, у Пушкина, как и у его героя Ленского, в 18 лет уже далеко позади. Тогда же в послании «Дельвигу» Пушкин счел младенческое приобщение к музе чем-то вроде закона:

О милый друг, и мне богини песнопенья
Еще в младенческую грудь
Влияли искру вдохновенья
И тайный указали путь.

Какой же? В чем это проявилось? И Пушкин продолжает:

Я лирных звуков наслажденья
Младенцем чувствовать умел.

То есть он в эти годы («две-три весны», говоря словами поэта-лицеиста, «от двух до пяти», говоря словами Чуковского) испытал, а мы теперь знаем, что это происходит со всяким младенцем этого возраста, счастье, связанное с овладением словом, наслаждение поэтическим словом, которое, как он настаивает, и предопределило его судьбу («И лира стала мой удел»). Обычное явление стало в жизни Пушкина поворотным событием, которое нельзя забыть. А в ранней редакции того же послания Пушкин (он умел быть благодарным) благословил свое детство:

В младенчестве моем я чувствовать умел,
Все жизнью вокруг меня дышало,
Все резвый ум обворожало.
И первую черту я быстро пролетел.
С какою тихою красою
Минуты детства протекли;
Хвала, о боги, вам! вы мощною рукою
От ярых гроз мирских невинность отвели.
Но все прошло — и скрылись в темну даль
Свобода, радость, восхищенье.

Вот оно какво наследие его детства, его золотой запас: «свобода, радость, восхищенье». Как быстро прошло само детство и как огромна была каждая его минута! Сколько могло быть несчастий, утрат, но все как-то обошлось без «ярких бурь мирских», которые так потрясли детство его отца и его матери. «В семейственной жизни прадед мой Ганнибал так же был несчастлив, как и прадед мой Пушкин», — сообщает поэт в «Начале автобиографии». То же и с бабками. Мать Сергея Львовича, как мы уже видели, «довольно натерпелась» от своего мужа. Она была второю женой Льва Александровича. «Первая жена его, урожденная Войкова, — пишет внук, — умерла на соломе, заключенная им в домашнюю тюрьму за мнимую или настоящую ее связь с французом, бывшим учителем его детей, и которого он весьма феодально повесил на воротах». Что же касается его бабушки Марии Алексеевны Пушкиной и деда Осипа Абрамовича Ганнибала, то «и сей брак был несчастлив. Ревность жены и непостоянство мужа были причиной неудовольствий и ссор, которые кончились разводом». Ничего подобного не было во вполне благополучном браке родителей Пушкина. И это, как признал сам поэт, немало значило в его жизни.

«В младенчестве моем я чувствовать умел», то есть обладал, как всякий нормальный ребенок, всею полнотой чувств, когда все окружающее не только давало пищу «резвому», то есть стремительно развивающемуся уму, познающему мир, но и «обворожало» его, давало познанию, говоря научно, ярко выраженную положительную эмоциональную окраску. Пушкин настаивает на том, что он все это помнит. И он действительно помнил! Обдумывая эти слова, я сначала счел, что все-таки нельзя сказать, будто он умел чувствовать, это же давалось само собой. Уметь чувствовать, делать все, чтобы не растерять свое эмоциональное богатство, — этому он начал учиться, когда сознательно стал писать стихи, когда принял решение быть поэтом.

«Я был рожден для наслажденья», — читаем мы в наброске посвящения к «Бахчисарайскому фонтану». Штамп? Поэтическое общее место? Как бы не так! Вот в чем состояло это наслажденье:

В моей утраченной весне
Так мало нужно было мне
Для милых снов воображенья.

В зрелые годы для работы творческого воображения нужно гораздо больше. Нужно иной раз и «будить мечту сердечной силой», случается, что и «напрасно чувство возбуждал я», и вообще, чтобы пробудить лирой чувства добрые в других людях, нужно не давать им уснуть и в самом себе. Поверим Пушкину в его с виду неточном утверждении, что он «лирных звуков наслажденья младенцем чувствовать умел». Ведь хоть и мало, но что-то было ему нужно и для «милых снов воображенья». Думаю, он очень рано оценил и полюбил в самом себе творческое состояние и умел если не вызывать его в себе, то хотя бы распознавать приход вдохновения и, не отвлекаясь, вновь отдаваться ему.

Итак, Пушкин открыл для себя, далеко обогнав свое время, то, что человек рождается счастливым, даже слезы ребенка не опровергают для него этого постулата:

От радости в постеле
Заплакало дитя.

А еще он открыл для себя закономерности возраста «от двух до пяти» и наилучшим образом воспользовался своим открытием. Он сохранял и культивировал в себе эмоциональное богатство, которое с младенчества дается каждому человеку. Он всем своим существом сопротивлялся равнодушию, охлаждению, омертвлению души, хотя знал, что подобно тому, как «цветок полей, листок дубрав в ключе кавказском каменеет», в житейской суете и дразгах, в том, что он называл «волньем жизни», и вправду «мертвеет и ветренный и нежный нрав». Ветренный и нежный, то есть детский. Пушкин осознал, запомнил, сохранил и развил в себе общечеловеческую гениальность, что дается нам в раннем детстве. Это и было главным событием его «младенчества», главным его итогом, рядом с которым ушли в тень живые подробности, лица, картины, конфликты этого младенчества, и потому в стихах Пушкина детство изображено несколько абстрактно, с виду неубедительно. Оно кажется таким взрослым, будто Пушкин, как его иногда рисуют нынешние малыши, и в колыбельке лежал с бакенбардами. Поэт и сам, видимо, понимал это, и потому многие из стихов, связанных с детством, либо вычеркнул, либо не опубликовал, как это было с «Посланием к Юдину».

Лишь случайно, между прочим, он написал, скажем, во что они в детстве играли со старшей сестрой Ольгой. А с младшим братом Левушкой? Об этом он нечаянно сказал в письме к брату из Михайловского весной 1825 года. Пушкин только что прочел повесть Антония Погорельского «Лафертовская маковница» и восхитился ее героем котом: «Душа моя, что за прелесть бабушкин кот! Я прочел два раза и одним духом всю повесть, теперь только и брежу Трифоном Фалалеичем Мур-

лыкиным, выступаю плавно, повертывая голову и выгибая спину». А теперь встаньте, дорогой читатель, и плавно пройдитесь поступью кота, не забывая повертывать голову и выгибать спину, и вы поставите себя на место Пушкина-поэта и Пушкина-ребенка. Он и в Лицее привадил к себе в комнатуху кота, это связывало его с детством, с семейным уютом:

Мурлыча, в келье дремлет
Спесивый старый кот.

Можно представить себе, какие позы принимал поэт, когда в том же Михайловском он изображал и графа Нулина и тамошнего кота:

Так иногда лукавый кот,
Жеманный баловень служанки,
За мышью крадется с лежанки:
Украдкой медленно идет,
Полужажмурясь, подступает,
Свернется в ком, хвостом играет,
Разинет когти хитрых лап
И вдруг бедняжку цап-царап.

И, наверное, точно так же, стихами и движениями, он в том же Михайловском изобразил еще одного кота, хорошо знакомого с детства по сказкам няни:

И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом.
Идет налево — песнь заводит,
Направо — сказку говорит.

Налево-направо, налево-направо, иначе и не взберешься на дуб по цепи, обвитой вокруг ствола, и не спустишься с него. И все время приходится менять жанры: лирика-эпос, лирика-эпос. Написав вступление к своей молодой поэме «Руслан и Людмила», Пушкин превратил ее в сказку ученого кота.

Корней Чуковский уже перед смертью добавил к своим заповедям для детских поэтов последнюю, четырнадцатую: «Писатель, пишущий для маленьких детей, непременно должен быть счастлив. Счастлив, как и те, для кого он творит». Вступление к «Руслану и Людмиле» дети любят с малых лет потому, что его создатель был счастлив, как ребенок, изображая ученого кота. А все эти русалки, лешие, баба Яга в своей ступе, богатыри, королевич, царевна с серым волком, колдун, несущий богатыря, — это же и есть те самые «детства милые виденья», о которых он пишет в черновике первой главы «Онегина». (Заметим, что для крестьянского мальчика русалки и лешие не были сказочными персонажами, они в его сознании были реальными героями быличек, з их суще-

ствовании он не сомневался. Для юного поклонника энциклопедистов они уже стали такими же героями волшебных сказок, как королевич или баба Яга.) Эти вот видения и заполняли те самые «две-три весны», встречи с ними и были главными событиями детства Пушкина.

Наверное, так же был счастлив Пушкин и когда писал свои стихотворные сказки. Думаю, именно это, говоря словами Чуковского, сумасшедшее счастье и диктовало ему «Салтана» и «Балду». Поэт не подозревал (это потом несказанно удивило исследователя детской психики и сказочника XX века), что пишет для малых детей, что они-то и станут его самыми восторженными читателями на все века, как он сам был восторженным, очарованным слушателем бабушек и мамушек. Но когда он писал стихотворные сказки, к нему возвращалась его детскость, которая временами его, великого поэта и поднадзорного ссыльного, вдруг превращала, скажем, в кота Трифона Фалалеича. Он как бы переселялся в свое раннее детство, когда он, как и каждый человек в этом возрасте, был просто обязан чувствовать себя счастливым. Этой детскости мы не найдем в его стихах о собственном детстве.

Впрочем, однажды в его более чем взрослом «Борисе Годунове» прорвался голос малого ребенка да еще в ритме и с интонациями Корнея Чуковского. Гришка Отрепьев на миг и впрямь ощутил себя царевичем Димитрием:

Что, когда бы наш царевич из могилы вдруг воскрес
И вскричал: А где вы, дети, слуги верные мои?

А дальше уже совершеннейший дедушка Корней:

Вы подите на Бориса, на злодея моего,
Изловите супостата, приведите мне его!..

Могли эти строки повлиять на Чуковского, пусть неосознанно? Разумеется, могли. «У Пушкина — до чего одинаково распределены все грамматические категории слов. Пушкинская грамматика — чудо душевного равновесия, душевной гармонии. И если воспринять пушкинскую поэзию как некую норму человеческой речи, можно сразу заметить, как сильно отклоняется от нормы творчество Валерия Брюсова, — писал Чуковский в 1908 году, — из-за чрезмерного скопления обдуманых, но не пережитых им эмоций». Эмоции, какими до краев наполнены его стихотворные сказки, Пушкин, как мы видели, пережил еще в раннем детстве. Человек, который подсчитывал, как распределены грамматические категории у Пушкина, не мог не заметить у него необычный ритм, необычную поэтическую речь от имени семилетнего ребенка.

Ты, детскую качая колыбель,
Мой юный слух напевами пленила.

Эти слова Пушкина приходится теперь считать столь же достоверными, как и наблюдение автора «От двух до пяти»: «Еще в колыбели, еще не научась говорить, ребенок восьми или девяти месяцев уже услаждается ритмическим лепетом, многократно повторяя какой-нибудь полюбившийся звук».

В главке «Первые стихи» Чуковский снова берет в союзники Пушкина: «О тяготении маленьких детей к звуковым арабескам, имеющим чисто орнаментальный характер, я впервые узнал из биографии Пушкина. У его приятеля Дельвига был брат, семилетний Ваня, которого Дельвиг называл почему-то романтиком. Услышав, что Ваня уже сочиняет стихи, Пушкин пожелал познакомиться с ним, и маленький поэт, не конфузясь, внятно произнес, положив обе ручонки в руки Пушкина:

Индияди, Индияди, Индия!
Индиянда, Индиянда, Индия!

Александр Сергеевич, погладив поэта по голове, поцеловал его и сказал:

— Он точно романтик...»

Видимо, Чуковский помнил этот эпизод из воспоминаний А. П. Керн наизусть и не сверял его с текстом. Между тем стихи мальчика звучали так:

Индиянди, Индиянди, Индия!
Индиинди, Индиинди, Индии!

Ване было не семь лет, а четыре. Чуковский считал этот эпизод достойным войти в биографию поэта. И верно. До двадцатого века в мире не было никого, кроме Пушкина, кто считал бы, что такие стихи внушены четырехлетнему ребенку музы, богиней песнопений. А дело было в том, что, держа в своих руках доверчивые ручонки маленького стихотворца, Пушкин как бы вновь встретился со своим ранним детством.

УЕДИНЕННЫЙ КАБИНЕТ

Когда Николай I разрешил поэту покинуть Михайловское, место ссылки, Пушкину настала пора вернуться домой. Но где же он, этот Дом? Определить это оказалось не так-то просто. В 1827 году поэт писал П. А. Осиповой в Тригорское: «Пошлость и глупость обеих наших столиц равны, хотя и различны, и так как я притязую на беспристрастие, то скажу, что, если бы мне дали выбирать между обеими, я выбрал бы Тригорское». Тут он, видимо, вспомнил свое детство, дом своего детства, где на французском языке разыгрывались кукольные спектакли. «Почти как Арлекин, — добавляет поэт, — который на вопрос, что он предпочитает: быть колесованным или повешенным? — отвечал: я предпочитаю

молочный суп». Как, наверное, хохотал над этой репликой мальчик, услышавший ее впервые.

Определение своему Дому Пушкин дал через два года от имени Владимира, одного из героев неоконченного «Романа в письмах»: «Петербург прихожая, Москва девичья, деревня же наш кабинет». Это и есть пушкинский образ Дома. Дом — это прежде всего кабинет, мастерская, место для творческих занятий. «Порядочный человек, — добавляет пушкинский герой, — проходит через переднюю и редко заглядывает в девичью, а сидит у себя в своем кабинете».

Прообразом такого Дома-кабинета в детстве Пушкина был кабинет его отца, где, возможно, сын бывал чаще, чем отец.

В стихах Пушкина образ кабинета, чуждого подлости и глупости, возник еще в Лицее, а в его сознании — еще в годы его московского и подмосковного детства:

Случалось ли ненастной вам порой
Дня зимнего при позднем тихом свете,
Сидеть одним, без свечки в кабинете:
Все тихо вкруг; березы больше нет;
Час от часу темнеет окон свет;
На потолке какой-то призрак бродит;
Темнеет взор; «Кандид» из ваших рук,
Закрывшись, упал в колени вдруг.

И мальчик засыпает в кабинете у отца, который он в этих стихах считает и ощущает своим собственным и куда, по домашним воспоминаниям, хаживал он и со свечкой, просиживая ночи над книгами. Здесь, в кабинете или в библиотеке, он встречается с автором «Кандида», подобно тому как в младенчестве (об этом речь идет в том же отрывке «Сон») после сказки мамушки в мечтах «встречал лихих Полканов и Добрыней». О такой же встрече в детстве в кабинете отца Пушкин вспомнит еще раз, но уже в 1836 году:

Еще в ребячестве бессмысленном и злом,
Я встретил старика с наморщенным челом,
С очами быстрыми, зеркалом мысли зыбкой,
С устами, сжатыми насмешливой улыбкой.

Перед нами впечатление от портрета Вольтера, увиденного мальчиком. После встречи с автором «Кандида» ребячество, надо полагать, стало уже не столь злым и бессмысленным.

А в Лицее Пушкин мечтает о собственном кабинете. Вот Дом, который он лелеет в воспоминании и в воображении. В «Послании к Юдину» Пушкин переносит этот кабинет в Захарово и наполняет его образами и строками еще не написанных им стихов. В «Городке» вновь мечты о чтении, о своих друзьях-книгах, в том числе запретных, переписанных в потаенную сафьяновую тетрадь на нижней полке:

Укрывшись в кабинет,
Один я не скучаю
И часто целый свет
С восторгом забываю.

Кабинета у Пушкина в Лицее не было. Это воспоминание и в то же время мечта об отцовском кабинете в Москве и в Захарове. Там он в восторге забывал целый свет. «И забываю мир», — отзывается это в «Осени», когда детская и отроческая мечта о кабинете осуществится.

Друзья мне — мертвецы,
Парнасские жрецы, —

скажет он в «Городке». А через 23 года, умирая, он скажет им, книгам, друзьям детства, юности и зрелых лет, старым и новым: «Прощайте, друзья!».

Пушкинская Татьяна, став светской дамой, готова отдать «всю эту ветошь маскарада» за полку книг, за дикий сад» своего детства. У автора «Городка» такие же книги «над полкою простою Под тонкою тафтою». И такой же дикий сад: «окошки в сад веселый, Где липы престарелы С черемухой цветут».

Пушкин воспитывался вместе с сестрой, летнее время проводил в Захарове, и потому детство Пушкина просвечивает и в некоторых подробностях детства милых его сердцу уездных барышень. Голос самого поэта слышен в черновом варианте письма Татьяны:

Моя смиренная семья,
Уединенные гулянья
Да книги, верные друзья, —
Вот все, что так любила я.

Страсть к уединенным гуляньям Пушкин сохранил с детства на всю жизнь. Про таких, как Татьяна, в «Романе в письмах» сказано: «Эти девушки, выросшие под яблонями и между скирдами, воспитанные нянюшками и природою, гораздо милее наших однообразных красавиц, которые до свадьбы придерживаются мнения своих матерей, а затем — мнения своих мужей». О том же в «Барышне-крестьянке»: «Воспитанные на чистом воздухе, в тени своих садовых яблонь, они знание света почерпают из книжек. Уединение, свобода и чтение рано развивают в них чувства и страсти, неизвестные рассеянному нашим красавицам». Главным достоинством юных существ, воспитанных таким образом, Пушкин считает «особенность характера, самобытность (individualité), без чего, по мнению Жан-Поля, не существует и человеческого величия». «Самостоянье человека, залог величия его», — сказано о чув-

ствах и страстях, неизвестных светским людям, в знаменитом стихотворном наброске, посвященном, кстати, «любви к родному пепелищу, любви к отеческим гробам». Как считает поэт, «навык света скоро сглаживает характер и делает души столь же однообразными, как и головные уборы».

Но ведь не об одних девушках тут речь. Ведь и сам Пушкин был воспитан на чистом воздухе, в тени своих садовых яблонь, и его детство прошло под яблонями и между скирдами, и его воспитывали природа и нянюшки. «Свобода, радость, восхищенье». — писал он о детстве в послании к лицейскому другу. «Уединение, свобода и чтение», — так сказано в дни Болдинской осени о детстве, протекшем в «деревне, нашем кабинете».

Итак, от самого детства идут самобытность, характер, индивидуальность, даже величие духа у тех, кто получил такое воспитание, как пушкинские деревенские барышни. И как он сам. Девушек этих он наблюдал в их и в своем собственном детстве, одна из них была ему родной сестрой, другая, как мы увидим ниже, ранней любовью, оказавшей влияние на всю его поэзию.

Похоже на детство Пушкина и детство Маши Троекуровой. Ее отец, как и Сергей Львович Пушкин, тоже не мешал ей читать. Маша «привыкла скрывать от него свои чувства и мысли, ибо никогда не могла знать наверно, каким образом они будут приняты. Она не имела подруг и выросла в уединении». И если уж девочки, героини Пушкина, становились независимыми от мнения матерей и скрывали свои мысли и чувства от отцов, не рассчитывая на их понимание, то что же можно сказать о детстве их автора!

Как и в детстве Пушкина, «огромная библиотека, составленная большею частью из сочинений французских писателей XVIII века, была отдана в ее (Маши Троекуровой. — В. Б.) распоряжение. Естественным образом, перерыв сочинения всякого рода...» Прервем цитату. Вот так, естественным образом, и сложился у Пушкина еще в детстве образ Дома-мастерской, Дома, душа которого — кабинет с библиотекой.

На книжной полке мечтателя, автора «Городка», среди «певцов красноречивых, прозаиков шутливых» есть конечно, и книги его московского детства. В Лицей, по свидетельству Пушчина, он явился весьма начитанным. Среди них, конечно, тот же Вольтер, который «всех более перечитан, всех менее томит». А дальше — Вергилий, Тассо, Гомер, Державин с Горацием, «мудрец простосердечный Ванюша Лафонтен», Дмитриев с Крыловым (по свидетельству сестры, Пушкин до Лицея любил сочинять басни). Далее — любимцы отца, а потом и сына легкомысленные Вержье, Парни, Грекур. Тут и драматурги: Эврипид, Расин и Озеров, Фонвизин и Княжнин. Не назван Мольер, вдохновлявший Пушкина на комедии в его лицейском детстве. А на нижней полке «Опасный сосед»; написанный сначала его «парнасским отцом», а потом «дядею и на Парнасе» Василием Львовичем. Его героя Буяноза Пушкин объявит своим двоюродным братом и заставит потанцевать в «Онегине» на балу

у Лариных. Конечно, что-то в этом списке прибавилось к любимейшим книгам его детства, а что-то, например, Мольер, почему-то и убавилось. И у нас нет возможности, как у героини «Романа в письмах», «найти на полях его замечания, бледно писанные карандашом; видно, что он был тогда ребенок. Его поражали мысли и чувства, над которыми стал бы он теперь смеяться; по крайней мере видна душа свежая, чувствительная». Видел ли Пушкин уже в зрелости свои детские пометки?

Такие пометки могли быть против строки из басни Крылова про храброго муравья: «Он даже хаживал один на паука», и против строки Державина из оды «Водопад»: «Алмазна сыплется гора». В зрелые годы Пушкин привел их как пример поэтической смелости.

Кабинет для Пушкина и есть то священное место, тот алтарь, где располагаются домашние божества, его лары и пенаты. Ради них он и в 1829 году был рад оставить «людское племя»:

Дабы стеречь ваш огонь уединенный,
Беседуя с самим собою. Да!
Часы неизъяснимых наслаждений!
Они дают мне знать сердечну глубь...
Они меня любить, лелеять учат
Не смертные таинственные чувства...

А дальше обратим внимание на слова «первая наука», наука, идущая от домашних божеств его детства:

И нас они науке первой учат
Чтить самого себя. О нет, вовек
Не преставаля молить благоговейно
Вас, божества домашние.

Внутренняя независимость, собственное достоинство, тайная свобода (а какая еще свобода могла быть в родительском доме среди нянь, мамушек, гувернанток, а потом учителей!), основанные на самоуважении, понятиях чести и непрестанном труде мысли и воображения. А их внешнее выражение — книги, рабочие тетради, милые сердцу вещицы, а также вид в окно, вид в искусство через картины на стенах, вид в зеркало. Это и есть его лары, его пенаты; его домашние божества.

Он радовался своим единомышленникам-единоверцам:

Благословляю новоселье,
Куда домашний свой кумир
Ты перенес — а с ним веселье,
Свободный труд и сладкий мир.

Свободный труд и есть святая святых Дома-кабинета. То, что отвлекает от труда, враждебно домашним божествам:

Ты счастлив: ты свой домик малый,
Обычай мудрости храня,
От злых забот, от лени вялой
Застраховал, как от огня.

Образ кабинета со списком прочитанных книг характеризует его любимейших героев. С Онегиным мы вместе с автором знакомимся сначала по его петербургскому кабинету, а потом вместе с Татьяной решаем, что же он собой представляет, по кабинету деревенскому. Любя друга, например, Чаадаева, поэт любит и его кабинет. Скучая по другу, скучает и по его кабинету:

Как обниму тебя! Увижу кабинет,
Где ты всегда мудрец, а иногда мечтатель
И ветреной толпы бесстрастный наблюдатель;
Приду, приду я вновь, мой милый домосед,
С тобою вспоминать беседы прежних лет,
Младые вечера, пророческие споры,
Знакомых мертвецов живые разговоры;
Поспорим, перечтем, посудим, поборим,
Вольнолюбивые надежды оживим,
И счастлив буду я...

Вот к таким спорам прислушивался он в детстве, до 12 лет, в кабинетах отца, дяди, Бутурлиных, в присутствии Карамзина, которого он, по свидетельству отца, и в 5—6 лет выделял из всех прочих знакомцев своих родителей, а также Дмитриева, Жуковского, Батюшкова...

Иногда при воспоминании о доме Лицей казался ему тюрьмой «с защелкой на дверях». «С тех пор», то есть после отъезда из Москвы, «гляжу на свет, как узник из темницы». В год выпуска из Лицея он вопреки всему, что сказал до и скажет после этого о своем юном лицейском счастье, вдруг заявил:

В кругу чужих, в немилой стороне
Я мало жил и наслаждался мало.

Он не стал развивать эту тему, возводить на Лицей такую напраслину. И все же тоска по московскому дому была, она слышна, скажем, в лицейском послании к Батюшкову:

Пою под чуждым небом
Вдали домашних лар.

Теперь мы знаем, какие это были лары. Он скучал по ним, и по прежним, и по будущим. Уединенный кабинет, молчаливый кабинет...

Укроюсь с тайною свободой,
С цевницей, негой и природой.
Под сенью дедовских лесов.

Дом-кабинет, приют для творчества. А как же это сочетается с домом в обычном смысле этого слова? А жена? А дети? Ответ на это находим в «Моцарте и Сальери»:

...играл я на полу
С моим мальчишкой. Кликнули меня.

Это кабинет Моцарта. Приходит человек с заказом, и все меняется:

Сел я тотчас
И стал писать.

В стихотворении «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит» поэт зовет жену, мать своих детей, «в обитель дальнюю трудов и чистых нег». Продолжение этих стихов Пушкин набросал прозой. Одна из фраз этого наброска звучит, как некрасовская строка, написанная амфибрахием:

Блажен, кто находит подругу — тогда удались он домой.

И прежние, знакомые мотивы, бесстрашно рукой доведенные до конца: «О, скоро ли перенесу я мои пенаты в деревню — поля, сады, крестьяне, книги; труды поэтические — семья, любовь etc. — религия, смерть». Программа, осуществленная Львом Толстым! «Поля, сад... книги»... «За полку книг, за дикий сад»...

Таков образ Дома-кабинета, Дома-мастерской у Пушкина. Образ, возникший в раннем детстве, когда он ребенком тихо сидел в кабинете отца и восторженно смотрел на Карамзина, когда не только отец, но и мать читали ему с сестрой книги, когда мальчик один со свечкой пробирался в кабинет и читал, читал... Дом-кабинет, погруженный в природу и в народную жизнь, где он, как его Моцарт, сочинял бы и играл с детьми. Играл, сочиняя, и сочинял, играя.

РАННЯЯ ЛЮБОВЬ

Это пункт внесен (и зачеркнут) Пушкиным в первую программу его записок. Они, увы, не были написаны. И все же в 1835 году рука Пушкина перенесла на бумагу следующий текст: «Как это странно, что я был так безгранично предан и глубоко привязан к этой девушке в возрасте, когда я не только не мог испытывать страсть, но даже понять значение этого слова. И однако же это была страсть!» И это далеко не все из того, что мы можем прочесть у Пушкина о ранней любви.

Делая обширную выписку из дневника Байрона (во французском переводе), Пушкин, конечно же, думал и о себе. Заметка «Байрон» по-

священа детству великого англичанина. Здесь Пушкина больше всего интересовало влияние детства на дальнейшую жизнь поэта. В особенности его ранней любви. Пушкин использует именно это понятие: «Осьмилетний Байрон влюбился в Марию Доф,— подчеркивает он.—17 лет после этого в одном из журналов он описал свою раннюю любовь». И раз уж мы не располагаем пушкинским рассказом о его ранней любви, то читаем вместе с Пушкиным рассказ о ранней любви Байрона.

«Я и сейчас спрашиваю себя. что бы это значило? Я не виделся больше с нею с этих пор». Мы не знаем, виделся ли Пушкин в юности или в зрелости с предметом своей ранней, детской любви, хотя в его стихах, кажется, есть свидетельство об этом. Но скорее всего он, как и Байрон, не искал встречи, а с удивлением вглядывался в воспоминания детства. «Мы были тогда детьми,— продолжает Байрон.— Я пятьдесят раз с тех пор влюблялся. и тем не менее я помню все то, о чем мы тогда говорили. помню наши ласки. ее черты, мое волнение, бессонницы и то, как я мучил горничную своей матери, заставляя ее писать Мери от моего имени; и она в конце концов уступала, чтобы меня успокоить». Восьмилетний Пушкин мог бы сам писать письма по-французски. Но кто передавал его письма? И нет ли следов его детской бессонницы в сцене Татьяны с няней? Следы — в черновике:

И все молчало; при луне
Лишь кот мяукал на окне.

Это уже восприятие не влюбленной девушки, а влюбленного ребенка. Как жаль, что обо всем этом мы можем прочесть не в записках Пушкина, а лишь в его выписках из Байрона. И все же: «Я припоминаю наши прогулки и то блаженство, которое я испытывал, сидя рядом с Мери в ее детской /.../ в то время как ее маленькая сестра играла в куклы, а мы с серьезностью, на свой лад ухаживали друг за другом». Тут уже вспоминается Ленский, «чуть отрок (в черновике — ребенок), Ольгою плененный», «свидетель умиленный ее младенческих забав». Мы еще поговорим об этом, а пока снова вернемся к байроновской записи, остановившей внимание Пушкина в последние годы жизни:

«Но как же это чувство могло пробудиться во мне так рано? Какова была причина и источник этого? И в ту пору, и несколько лет спустя я не имел никакого понятия о различии полов. И тем не менее мои страдания, моя любовь к этой маленькой девочке были так сильны, что на меня находит сомнение, любил ли я по-настоящему кого-нибудь с тех пор». «Ранняя любовь» как будто бы не стала соперницей влюбленностям Пушкина. Но пронизательная дочь генерала Раевского Мария Волконская в своих записках предположила-таки, что Пушкин по-настоящему любил только свою музу.

«Как бы то ни было,— сообщает Байрон.— известие о ее замужестве как громом меня поразило. Я чуть не задохнулся, к великому ужасу моей матери и к неверию всех остальных». Может быть, предполага-

емое «неверие всех остальных» и остановило Пушкина. Может, потому он и вычеркнул пункт «Ранняя любовь» из программы записок.

Память о ранней любви много значила для взрослого Байрона, великого поэта: «Это необычайное явление в моей жизни (ведь мне не было еще тогда полных восьми лет) заставило меня задуматься, и разрешение этого будет меня мучить до конца моих дней. С некоторого времени — сам не знаю почему — *воспоминание* о Мери (не чувство к ней) вновь пробудилось во мне с большей силой, чем когда-либо». Слово «воспоминание» подчеркнуто.

У Пушкина есть три образа любви: 1) любовь-реальность, 2) любовь-мечта, самая возможность любви, 3) любовь-воспоминание, более уже невозможная, невозвратная. Предмет такой любви может стать собирательным, как в черновиках «На холмах Грузии»:

Прошли за днями дни. Сокрылось много лет.
Где вы, бесценные создания?
Иные далеко, иных уж в мире нет,
Со мной одни воспоминанья.

В воспоминаниях невозвратная, невозможная любовь становится невинной, девственной, приобретает черты первой, идеальной любви. Все «бесценные создания» вдруг входят в один образ:

Я твой по-прежнему, тебя люблю я вновь
И без надежд и без желаний.
Как пламень жертвенный, чиста моя любовь
И нежность девственных мечтаний.

Но вернемся к «нежности девственных мечтаний» Байрона: «Какой очаровательный образ ее сохранился в моей душе! Ее каштановые волосы, ласковые светло-карие глаза, все, вплоть до ее костюма! Я был бы поистине несчастен если бы увидел ее *теперь*. Действительность, как бы ни была она прекрасна, разрушила бы или, по меньшей мере, возмутила бы черты восхитительной Пери, которой она тогда явилась и которая продолжает жить во мне, хотя с тех пор прошло более шестнадцати лет: ибо мне сейчас двадцать пять лет и несколько месяцев».

Образ маленькой пери жил и в сознании Пушкина. И, может быть, вспоминая свою раннюю любовь, он сделал этот перевод из другого англичанина, Барри Корнуола, когда в 1830 году впервые прочел о маленькой пери Байрона в книге Т. Мура «Мемуары лорда Байрона»:

Можно краше быть Мери,
Краше Мери моей,
Но нельзя быть милей
Резвой, ласковой Мери.

Резвой и ласковой, как ребенок.

Но если Байрону ранняя любовь казалась необычным явлением, удивительным проявлением его неповторимой личности, то Пушкин щедро одарил ею своих героев. Даже казака из «Полтавы», того, кто вез донос на Мазепу. Казак любил Марию Кочубей:

Среди полтавских казаков,
Презренных девою несчастной,
Один с младенческих годов
Ее любил любовью страстной.

Младенческие годы и страстная любовь? Но ведь это то же самое, что «ранняя любовь» у самого Пушкина и «Однако же это была страсть!» — у Байрона. Байрон-юноша, узнав о замужестве своей Мари, «задохнулся». Казак из «Полтавы», узнав про связь Марии с Мазепой, выразил свои чувства еще более энергичным образом. В черновиках поэмы сказано, что при одной мысли о Мазепе «все черты его угрюмы. Смех ярый зверски искажал». Зато его чувства к изменившей Марии выражены так, будто их испытывает великий поэт:

Убитый ею, к ней одной
Стремил он страстные желанья,
И горький ропот и мечтанья
Души кипящей и большой...
Еще хоть раз ее увидеть
Безумной жаждой он горел;
Ни презирать, ни ненавидеть
Ее не мог и не хотел.

Великие стихи! Но, может быть, Пушкин исключил их из поэмы потому, что они были для него слишком личными, слишком связанными с обстоятельствами его жизни, которые он не хотел раскрывать? Может быть, он пережил то же, что пережил Байрон, узнав о замужестве предмета своей детской любви? Но ведь никто этому не поверит, как не поверили Байрону.

В «Романе в письмах», наоборот, ранней, детской любви верна девушка: «Машенька не видела его семь лет, но от него в восхищении. Он провел у них одно лето, и Машенька беспрестанно рассказывает все подробности его тогдашней жизни» и хранит его пометы на своих книгах. Ранней любви верны княжна Наталья Ржевская и стрелецкий сирота Валериан из «Арапа Петра Великого». Тот самый Валериан, который когда-то чуть не наделал пожара в комнате своего наставника, пленного шведа, стреляя из детской пушечки.

Верны ранней любви и герои «Дубровского»: «На сем самом холму играл он с маленькой Машей Троекуровой, которая была двумя годами моложе его и тогда уже обещала стать красавицей». Так, видимо, и Пушкин хранил свою детскую тайну.

Владимиру тогда шел восьмой год. Значит, Маше было всего пять. Она обещала стать красавицей, и мальчик понимал это. Или понял,

повзрослев и вернувшись к своим детским воспоминаниям. Кто знает, будь Дубровский поэтом, может, и он, вернувшись юношей в родные дубравы и вспомнив свою раннюю любовь, выразил бы эти чувства так же, как и двадцатилетний Пушкин:

Дубравы, где в тиши свободы
Встречал я счастьем каждый день,
Вступаю вновь под ваши своды,
Под вашу дружескую тень.

Вспомним стихи «Муза», где поэт в младенчестве своем беседует с богиней «с утра до вечера в немой тени дубов». И вот поэт снова вступает под их «дружескую тень», может быть, лишь в мечтах:

И для меня воскресла радость,
И душу взволновала вновь
Моя потерянная младость,
Тоски мучительная сладость
И сердца первая любовь.

Тут как бы предчувствуется будущий автор стихов «Я помню чудное мгновенье» и как бы уже слышится «и божество, и вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь». Вот только «сердца первая любовь» — вроде бы не пушкинская тема. Это скорее тема его персонажа Владимира, но не Дубровского, а Ленского. И, кажется, будто он, «отрок, Ольгою плененный», «свидетель умиленный ее младенческих забав», вдруг заговорил от первого лица в стихах девятнадцатилетнего Пушкина:

Любовник муз уединенный
В сени пленительных дубрав
Я был свидетель умиленный
Ее младенческих забав.

А вот и обещание красоты, угаданное мальчиком Дубровским.

Она цвела передо мною,
И я чудесной красоты
Уже угадывал мечтою
Еще неясные черты.
И мысль о ней одушевила
Моей цевницы первый звук
И тайне сердце научила.

То же он скажет и про Ленского, кому подруга детских игр —

...подарила
Младых восторгов первый сон.

И мысль о ней одушевила
Его цевницы первый стон.

Сочинять, по свидетельствам близких, Пушкин начал лет в 8—9. Ранняя любовь научила его тайне.

А как же лицейские увлечения поэта? Как они сочетаются с той любовью, которая по силам лишь одной безумной душе поэта? Впрочем, у Ленского тоже были «чужеземные красы». Но:

Ни охлаждающая даль,
Ни долгие лета разлуки,
Ни музам данные час я,
Ни чужеземные красы,
Ни шум веселья, ни науки
Души не изменили в нем,
Согретой девственным огнем.

Вот он жертвенный пламень чистой любви, вот она «нежность девственных мечтаний» из первой редакции «На холмах Грузии». Значит, и это идет от детства. Значит, девственный огонь ранней любви долго согревал сердце поэта. Значит, он писал не только о Ленском, но и о себе:

Простите, игры золотые!
Он рощи полюбил густые,
Уединенье, тишину,
И ночь, и звезды, и луну,
Луну, небесную лампаду,
Которой посвящали мы
Прогулки средь вечерней тьмы,
И слезы, тайных мук отраду...

«Тоски мучительная сладость», «тайных мук отрада», «мне грустно и легко» — все это одно чувство, открытое еще в детстве. Байрон всю жизнь помнил «каштановые волосы, ласковые светло-карие глаза» своей Мери, но он не хотел «увидеть ее теперь». Пушкин учидел:

Глаза, как небо, голубые,
Улыбка, локоны златые,
Движенья, голос, легкий стан...

Это Ольга Ларина, но, наверное, не только она:

Ее портрет: он очень мил,
Я прежде сам его любил.

Любил, надо думать, не портрет, а оригинал. И верно. Эти черты в Марии, героине «Бахчисарайского фонтана», еще нравятся поэту и нисколько ему не надоели, даже «кудри легкие льняные» (черновик):

Все в ней пленяло: тихий нрав,
Движенья стройные, живые
И очи томно-голубые.

Что же касается голоса и движений, то Мария «домашние пиры волшебной арфой оживляла». В черновике арфа как-то по-детски названа веселой. И еще:

Никто сравняться с ней не мог
Когда на играх Терпсихоры
Она полетом стройных (вариант: легких) ног
Невольно увлекала взоры.

Такими играми Терпсихоры могли быть, например, знаменитые (они даже в «Войну и мир» попали!) детские балы у московского танцмейстера Иогеля, где, как считает Н. О. Лернер, Пушкин и встретил Сонечку, дочь литератора Н. М. Сушкова. Лернер почему-то не обратил внимания на то, что видеть ее в танце маленький Пушкин мог не только у Иогеля, а прямо дома у Сушковых, куда, как и к Бутурлиным и Трубецким, сестра и брат Пушкины ездили учиться танцам. Не отозвалось ли детство Сони Сушковой в детстве Марии?

Чтоб даже замужем она
Вспоминала с умилением
Девичье время, дни забав,
Мелькнувших легким сновиденьем.

Столь же трогательным был поначалу и образ девочки Ольги в «Онегине», которая в глазах родителей «цвела, как ландыш потаенный». И вдруг поэт «задохнулся», как это было с Байроном, вдруг, как у казака из «Полтавы», «смех ярый» искажил черты лица не только собственного, но и той, кого любил: «Как эта глупая луна на этом глупом небосклоне». Даже луне досталось! В том, что возвышенная героиня молодой лирики стала обыденным персонажем «Онегина» есть, по-моему, след какой-то юношеской драмы. Добавим, что Софья Николаевна Сушкова вышла замуж за пензенского гражданского губернатора Панчулидзева, прославленного, увы, своим казнокрадством.

Свою раннюю любовь вместе с пленительными и хранительными дубравами поэт отдал Ленскому:

Он пел дубравы, где встречал
Свой вечный, юный идеал,—

сказано в черновике. Ограничивались ли встречи Пушкина-мальчика с его маленькой, годом моложе его, вдохновительницей лишь Москвой? Не виделись ли они и летом в имении Пушкиных или Сушковых?

Он рано без нее скучал
И часто по густому лугу
Без милой Ольги, меж цветов
Искал одних ее следов.

«Рано без нее скучал», то есть не должен был еще по крайней малости лет испытывать такие чувства. В лицейском стихотворении «Осеннее утро» (1816 г.) тот же мотив, поиски следов своей милой:

Уж нет ее... я был у берегов,
Где милая ходила в вечер ясный;
На берегу, на зелени лугов
Я не нашел чуть видимых следов,
Оставленных ногой ее прекрасной

Наступила осень, и девочку увезли родители:

Поля, холмы, знакомые дубравы!
Хранители священной тишины!
Свидетели младенческой забавы!
Забыты вы... до сладостной весны!

Не поверят, что младенческой! И Пушкин пишет «свидетели моей тоски, забавы», а в начале стихотворения вместо «с милою любви моей мечтой» появляется уже взрослое — «с образом любовницы драгой».

«Вечный, юный идеал», девственный огонь ранней любви, вернее, как у Байрона, памяти о ней. Отсюда та детскость, без которой бедна жизнь взрослых людей, немыслима истинная любовь:

И ласковых имен младенческая нежность.

Но как раз детскости-то в стихах Пушкина о собственном детстве и нет. Тогда детей часто рисовали как маленьких взрослых и к восьмилетней девочке можно было обратиться так, как это сделал семнадцатилетний Пушкин:

Амур дитя, Амур на вас похож —
В мои лета вы будете Венерой.

Зато детскость есть и в «Арапе Петра Великого» и в «Дубровском». Там веришь ранней любви героев, словно она не исключительное, странное явление, каким кажется Байрону, а общечеловеческая норма. Недаром образ маленькой девочки для Лермонтова будет дорог, как

«розового дня над рощей первое сиянье», а в стихах Фета будет так много значить зловещий крик ворона в тот момент, когда «подруга игр моих надолго уезжала».

Но у Ленского и у молодого Пушкина ранняя любовь лишена детскости, она выглядит романтическим преувеличением, не вводит в детство, а выводит из него. Может, потому мы так долго даже и не ощущали отзвуков долицейского детства в творчестве Пушкина. Поди пойми, что, так сказать, лирический герой этого отрывка начала двадцатых годов еще даже не лицеист, а ребенок, «дошкольник»:

Скажи — не я ль тебя заметил
В толпе застенчивых подруг,
Твой первый взор не я ли встретил,
Не я ли был твой первый друг.

И еще замысел начала 20-х годов. Именно тогда Пушкин писал свои первые, уничтоженные записки:

В беспечных радостях, в живом очарованьи,
О дни весны моей, вы скоро утекли,
Теките медленней в моем воспоминанье.

Этих воспоминаний нет, но все же они, как мы видели, существуют. В том числе и воспоминания о первой любви. Вот уж и впрямь — любви все возрасты покорны. Создавая эту формулу, Пушкин не исключал из нее и очень ранний возраст.

«И Я СЧИТАЛ КОГДА-ТО ВОСЕМЬ ЛЕТ...»

«До шестилетнего возраста Александр Сергеевич не обнаруживал ничего особенного,— вспоминает О. С. Павлицева, сестра поэта,— напротив, своею неповоротливостью, происходившею от тучности тела, и всегдашнюю молчаливостью приводил иногда мать в отчаяние. Она почти насильно водила его гулять и заставляла бегать, отчего он охотнее оставался с бабушкой Марьею Алексеевной, залезал в ее корзину и смотрел, как она занимается рукоделием».

По стихам Пушкина мы знаем, почему его так влекло в младенчестве к бабушкам и мамушкам, как захватывали его сказки, «лирные звуки» стихов и песен и просто рассказы «о мертвецах, о подвигах Бовы», знаем мы о его снах и о его бессонницах. Может, из-за них-то он и был мало-подвижен днем и садился в бабушкину корзину. Главным наслаждением его в этом возрасте было мечтать и слушать, слушать и мечтать. Вряд ли бабушка помалкивала, пока внук сидел в корзине, глядя, как она занимается рукоделием. Он был в курсе всех домашних новостей:

Фома свою хозяйку
Ни за что наказал,
Антошка балалайку,
Играя, разломал,—
Старушка все расскажет;
Меж тем как юбку вяжет,
Болтает все свое...

Может, он и подремывал в корзине после детских бессонниц, вызванных сказками и быличками. И когда он правил новый вариант записок Нащокина о детстве, то, наверное, ему был памятен и понятен тот образ ведьмы, каким няня пугала Нащокина, чтоб тот уснул: «В жаркую лунную ночь бессонницы я, казалось, видел ее, стоящую подле моей кровати». Пушкин видел над своей кроватью музу в образе старушки. Марья Алексеевна не могла не читать ему стихов. Но вот все изменилось:

Младенчество прошло, как легкий сон.
Ты отрока беспечно любила...

Но вместо веселой старушки явилась уже совсем другая муза. Легкий сон сменился пробуждением. И в этом, как полагает поэт, он ничем не отличался от других детей. Первое впечатление жизни (у Пушкина это длинный рот старушки, «где зуба два стучало», в который и глядит малыш, жадный до сказок) вечно живет в памяти. А дальше? А дальше — «легкий сон» младенчества. «С тех пор впечатления мои становятся слабы и неясны до 10-го года моего возраста», — сказано у Нащокина. То же и у героя «Русского Пелама»: выносят гроб матери, и «тут воспоминация мои становятся сбивчивы. Я могу дать ясный ответ себе не прежде как уж с осьмилетнего возраста». Добавим к этому заметку «Байрон» (1835 г.): «Около того же времени осьмилетний Байрон влюбился в Марию Доф». И как в стихах «Наперсница волшебной старины», все чудно и быстро меняется и вместо веселой старушки музой становится юная красавица, еще воображаемая, еще такая, какую обещала будущая красота маленьких Ольги Лариной, Маши Троекуровой, Сони Сушковой.

Какие же события произошли у Пушкина в восемь лет? О ранней любви уже сказано. Возможно даже, что переписка Дубровского с Машей, где совсем по-детски почтовым ящиком служит дупло дуба, а почтальоном, как и у Татьяны Лариной, — крестьянский мальчик, тоже идет от детских воспоминаний.

Но тогда же начались для мальчика беды и потери. В наброске Первой программы записок рядом стоят два пункта: «Первые неприятности. Смерть Николая». Брат Николенька, двумя годами моложе поэта, умер

тогда, когда у Александра кончился «легкий сон» младенчества и он уже мог в дальнейшем дать себе, как герой «Русского Пелама», ясный отчет в том, что с ним происходило. Пушкин всю жизнь помнил смерть брата в 1807 году. С его слов запомнилась такая подробность: заметив Сашу среди родных, Николенька в последний миг своей жизни показал брату язык. Видимо, тот старался веселить умирающего до самого конца.

Николай Сергеевич Пушкин похоронен рядом с церковью в Больших Вяземах, это приходская церковь для жителей Захарова, Вяземы — бывшее имение Годуновых. Мысль Пушкина, конечно же, обращалась к этой церкви, когда он писал «Бориса Годунова»:

Три дня
Я труп его в соборе посещал...
Но детский лик царевича был ясен
И свеж и тих, как будто усыпленный.

Это увидено не только Шуйским, которому тринадцать лет «все снилось убитое дитя». Если так, то боярин был впечатлителен, как поэт. Вот кому и впрямь мог много лет сниться навсегда уснувший брат. Умирает брат и у одного из пушкинских героев:

Я уцелел — он изнемог,
С трудом дыша, томим тоскою,
В забвеньи, жаркой головою
Склоняясь к моему плечу,
Он умирал, твердя всечасно:
«Мне душно здесь... я в лес хочу...»

Вариант из черновика:

Позвал меня, пожал мне руку,
Потухший взор изобразил
Одолевающую муку;
Рука задрогла, он вздохнул...

Так, работая над «Братьями-разбойниками», поэт еще раз пережил смерть брата. Пушкин ведь и сам видел эту «одолевающую муку». «Могилу брата все взяла», — сказано в поэме. А в детстве Пушкин скоро утешился. Его утешила слитая со сказкой детская вера, которой он предавался, «надеждой сладостной младенчески дыша». Вот как это утешение звучит в «Борисе Годунове»:

Так кто же ты? — спросил я детский голос.
— Царевич я Димитрий. Царь небесный

Приял меня в лик ангелов своих
И я теперь могущий чудотворец.

И еще раз поэт коснулся заветной темы смерти мальчика, когда писал «Эпитафию младенцу», сыну Волконских:

В сиянии и в радостном покое,
У трона вечного творца,
С улыбкой он глядит в изгнание земное,
Благословляет мать и молит за отца.

У «изгнания земного», кроме религиозного, есть и политический смысл. Ребенок, ставший ангелом, благословляет мать, покинувшую его и уехавшую в «каторжную нору», и просит за отца-декабриста.

Детство всегда находит утешение. В сознании брата Николенька после смерти переселился в царствие небесное и стал чудотворцем, небезразличным к его судьбе. Он проситель за старшего брата и глядит на него весело, как в свой последний миг.

«Но если мы теряем брата», — мелькнет в черновиках «Онегина» вместе с воспоминанием про слезы отца...

И еще одно событие, которое очень много значило для Пушкина в его восьмилетнем возрасте. Это был 1807 год. Унизительный Тильзитский мир. Наполеон на Немане, у границ России. Это поразило мальчика, захватило его сознание. О том, как Пушкин в детстве воспринимал Наполеона, мы можем узнать из десятой главы «Евгения Онегина»:

Пред кем унизились цари,
Сей всадник, папою венчанный,
Исчезнувший, как тень зари.

Тень зари особенно поражает детскую душу. Зарей поэт называл свое детство, а тень на заре куда огромное, чем тот, кто ее отбрасывает. В 1807 году тень Аустерлица упала на волны Немана, пограничной реки, откуда через пять лет начнется наполеоновское нашествие. И тогда эта грандиозная тень дотянется до самой Москвы, родины поэта.

Пушкинские образы многозначны. Наполеон — тень зари. Но это была и заря жизни самого Пушкина. И в то же время Наполеон — тень еще одной зари, зари свободы:

Когда надеждой озаренный
От рабства пробудился мир...

Заря надежды — Великая Французская революция:

И день великий, неизбежный —
Свободы яркий день вставал.

Вместо солнца свободы лишь исполинская тень. Ведь Наполеон «человечество презрел», смирил буйную юность обновленного народа. И вместо яркого, великого, неизбежного дня снова ночь, как при полном затмении солнца:

Европа гибла: сон могильный
Носился над ее главой.
И се, в величии постыдном
Ступил на грудь ее колосс.
Тильзит!.. При звуке сем обидном
Теперь не побледнеет росс.

А тогда, в 1807 году, побледнел. И самый звук «Тильзит» был для него обиден, даже если этому россу было восемь лет. Как, наверное, вглядывался этот восьмилетний русский патриот и при этом друг свободы /как любимый им с детства Фонвизин/ в изображения Наполеона, попадавшие в дом Пушкиных и в дома их родных и друзей. Как, наверное, еще в детстве его привлекал «чудный взор его, живой, неуловимый. То вдаль затерянный, то вдруг неотразимый».

Таков он был, когда в равнинах Австерлица
Дружины севера гнала его десница,
И русский в первый раз пред гибелью бежал.

Русский пред гибелью бежал! Это нестерпимо для восьмилетнего москвича, современника событий. И он вглядывается в лицо Наполеона:

Таков он был, когда с победным приговором
И с миром и с позором
Пред юным он царем в Тильзите предстоял.

Наполеон для Пушкина — «мятежной вольности наследник и убийца», Александр — «юный царь», так много обещавший, разочарование в нем было столь сильно, что осталось в душе поэта и после поражения Наполеона. «Под Австерлицем он бежал», — скажет поэт еще в лицейской эпиграмме, а в другой заявит, что царь хромает головою и сломал себе нос под Аустерлицем. В 10-й главе «Евгения Онегина» то же презрение:

Его мы слишком смирным знали,
Когда не наши повара
Орла двуглавого щипали
У Бонапартова шатра.

Мы знали... В том числе и восьмилетний Пушкин. Наполеон был для него наследником и убийцей мятежной вольности, а Александр I — то творцом, то губителем «свободы просвещенной», которая должна была взойти над Россией, как «прекрасная заря», для чего царю в сущности нужно было сделать лишь одно движение, чтобы «по манию царя» пало рабство. Надежды на эту зарю то загорались, то гасли, и, вглядываясь в изображения царя, в его лик, Пушкин видел в нем персонажа своих детских спектаклей:

К противочувствиям привычен,
В лице и в жизни арлекин.

Противочувствия к Александру I были у Пушкина, начиная с детства. То царь для него — арлекин, то «наш Агамемнон», то он — «владыка полунощи», то «раб молвы, сомнений и страстей». Можно ли ждать свободы от раба? Но в одном Пушкин был убежден всю жизнь. «Дней Александровых прекрасное начало», — сказал молодой Пушкин в «Послании к цензору». А 3 апреля 1834 года камер-юнкер, «придворный Данжо», записал в Дневник: «Сперанский у себя очень любезен. Я говорил ему о прекрасном начале царствования Александра». Опять пушкинская многозначность. «Дней Александровых прекрасное начало» — это еще и «младенчество» Александра Пушкина.

Противочувствия царя в разговоре со Сперанским поэт передал таким образом: «Вы и Аракчеев стоите в дверях противоположных этого царствования, как гении зла и блага». Эти слова настолько понравились самому автору, что он их у себя в Дневнике подчеркнул. Понравились они и Сперанскому: «Он отвечал комплиментами и советовал мне писать историю моего времени». «Мое время» — это вся жизнь поэта, начиная с рождения. Возвращаясь к истории, он возвращался к детству.

И то, что он узнавал от людей или из книг о временах своего детства и о себе самом, в воображении поэта и историка делалось воспоминанием: «Видел я трех царей: первый велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку». Видеть-то видел, да вряд ли помнил, было ему тогда года полтора. Та же нянька скорее всего и рассказала. И в его памяти осталась картина: император, «владыка полунощи», обиделся на младенца за то, что тот не признал в нем своего царя. Как ни странно, то же самое было и при первой встрече двух Александров, поэта и царя. Пушкину — 11 лет. «В 1810 году в первый раз увидел я государя. Я стоял на высоком крыльце Николы на Мясницкой. Народ, наполнявший все улицы, по которым он должен был проехать, ожидал его нетерпеливо. Наконец показалась толпа генералов, едущих верхами. Государь был между ними. Подъехав к церкви, он один перекрестился, и по сему знаменью народ узнал своего государя». Это строки, не включенные в основной текст «Путешествия из Москвы в Петербург». Ни мальчик, ни народ не могли определить, который из толпы генералов — их пове-

литель, перед кем шапки снимать. Вспоминая об этом приезде царя в Москву, Пушкин заодно помянул Елизавету Петровну: она лишь дважды за свое царствование была в Москве и «не мешала ни ее веселью, ни свободе ее толков». Итак, одно из впечатлений московского детства Пушкина: веселье и свобода толков подалее от царя.

В детстве поэт много слышал об Аракчееве, о «гении зла». Но детское чувство ненависти ко «всей России притеснителю» с годами сменилось любопытством писателя и историка. «Аракчеев также умер,— пишет он жене.— Об этом во всей России жалею я один — не удалось мне с ним свидеться и наговориться». Наговориться о временах своего детства. Конечно же, немало толков было и об убийстве Павла I, к которому так или иначе был причастен его сын. «Покойный государь окружен был убийцами его отца»,— записывает поэт в Дневник. Воображение мальчика, наверное, живо рисовало ему ту картину, которая потом возникла под его пером в оде «Вольность»:

Молчит неверный часовой,
Опущен молча мост подъемный,
Врата отверсты в мрак ночной
Рукой предательства наемной.

Встречаясь при дворе с убийцами Павла I (об этом упомянуто в Дневнике), поэт возвращался к событиям своего младенчества.

В одном из стихотворений юного Пушкина, из тех, за какие царь хотел поместить его в Соловки,—

Мария в хлопотах Спасителя страшает:
«Не плачь, дитя, не плачь, сударь:
Вот бука, бука — русский царь».

Младенец успокаивается и даже плачет от радости лишь после того, как слышит либеральные обещания царя. Их он воспринимает как прекрасные сказки. Вот так, будто прекрасную сказку, и запомнил Пушкин «дней Александровых прекрасное начало» с такими вполне сказочными персонажами, как гений добра, дающий царю благие советы, и гений зла, который притворяется, что «царю он друг и брат». В Дневнике после записи о Сперанском и Аракчееве Пушкин прямо связал обещания царя с детством и со сказкой: «В Александре было много детского. Он писал однажды Лагарпу, что, дав свободу и конституцию земле своей, он отречется от трона и удалится в Америку». Пушкин в детстве ощутил, а в молодости выразил эту черту своего царственного тезки:

Послушай-ка, как царь-отец
Рассказывает сказки

Но эти толки, эти сказки наполнили еще совсем детскую душу вольнолюбивыми надеждами, верой в то, что волшебным образом, «по манию царя», придет свобода, и в то, что «счастье было так возможно, так близко». Детское в характере царя отозвалось в душе ребенка, который «рано начал все понимать». А Наполеон? Но поэт еще в Лицее сказал, что тот «исчез, как утром страшный сон». Совсем как в детстве.

В «Послании к цензору» «дней Александровых прекрасное начало» рифмуется с «зерцало». В него бы и глядеться цензору:

Проведай, что в те дни произвела печать.
На поприще ума нельзя нам отступить.

А это уже проникнутые духом истины и свободолюбия сочинения русских авторов, опубликованные в то время и так сильно повлиявшие на будущего поэта. Один из авторов был «бичом вельмож» и «при звуке грозной лиры» «горделивые разоблачал кумиры» (Державин), другой «истину с улыбкой говорил» (Хемницер), третий «двусмысленно шутил» и «Киприду иногда являл без покрывала» (Богданович). Пушкин не отступил на поприще ума, он был верен своему «прекрасному началу», зеркало, установленное в его раннем детстве, всегда было перед ним.

Но вернемся к 1807 году, к Тильзиту. Через семь лет Пушкин скажет, что Наполеон «исчез, как утром страшный сон». Но тогда все это длилось: страшный сон на утре дней поэта, сон могильный, носящийся над главой Европы (у Пушкина сны носятся, как он не раз говорит об этом, именно над головой, словно он видит их, лежа с открытыми глазами), колоссальная тень на утренней заре... Но тут были не одни только чувства. Мальчик был зорек, приметлив. Он уже как бы собирал материал для истории своего времени, о которой так пронизательно сказал ему старик Сперанский. Правда, Сперанский не знал, что уже в двадцать лет с небольшим Пушкин принялся за эту историю, в 27 лет уничтожил написанное, а в 30 снова собрался ее писать. Можно представить, что сказал бы он в этих записках о Наполеоне, об Александре I, о Тильзитском мире. Впрочем, некоторое понятие об этом получим из повести «Рославлев». Вот что наблюдал в Москве восьмилетний Пушкин: «Все говорили о близкой войне и, сколько помню, довольно легкомысленно. Подражание французскому тону времен Людовика XV было в моде. Любовь к отечеству казалась педантством. Тогдашние умники превозносили Наполеона с фанатическим подобострастием и шутили над нашими неудачами. К несчастью, заступники отечества были немного простоваты; они были осмеяны довольно забавно и не имели никакого влияния. Их патриотизм ограничивался жестоким порицанием употребления французского языка в обществе, введения иностранных слов, грозными выходками противу Кузнецкого моста и тому подобным. Молодые люди говорили обо всем русском с презрением или равнодушием и,

шутя, предсказывали России участь Рейнской конфедерации. Словом, общество было довольно гадко».

Вот уже и впрямь страшный сон на утре дней Пушкина! Дети для него — равноправные участники истории. Лицейские стихи «Лицинию»:

И дети малые, и старцы в седилах —
Все перед идолом безмолвно пали в прах:
Для них и след колес, в грязи напечатленный,
Есть некий памятник, почетный и священный.

Ни Александр, ни Наполеон не были идолами для этого восьмилетнего мальчишка. Ему были отвратительны «умники», превозносившие Наполеона «с фанатическим подобострастием». Жалкими казались ему «слишком простоватые» патриоты, отвергшие французский язык и парижские моды. И наоборот, нашлись модницы, во всем подражавшие тону времен Людовика XV, Пушкин вспомнил их в письме к Вяземскому: «Мой милый, поэзия твой родной язык, слышно по выговору, но кто ж виноват, что ты столь редко говоришь на нем, как дамы 1807 года на славяно-росском». Как, наверное, они пыжились, чтобы походить на настоящих французских аристократок-изгнанниц, каких тогда можно было встретить и в доме Пушкиных.

В это время Пушкин начал сочинять по-французски. Первыми сочинениями такого рода, видимо, были эпиграммы и басни. Он читал басни Лафонтена и слушал долетевшие до Москвы новые басни Крылова. И, может быть, именно тогда ощутил особенности духа обоих народов, русского и французского. В статье «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова» он напишет: «Конечно, ни один француз не осмелится кого бы то ни было поставить выше Лафонтена, но мы, кажется, можем предпочитать ему Крылова. Оба они вечно останутся любимцами своих единоземцев. Некто справедливо заметил, что простодушие (*naïveté, bonhomie*) есть врожденное свойство французского народа; напротив того, отличительная черта в наших нравах есть какое-то веселое лукавство ума, насмешливость и живописный способ выражаться: Лафонтен и Крылов представители духа обоих народов».

Удивительная вещь. Отмеченные Пушкиным черты обоих народов породнились в его душе и стали чертами его собственной личности, его гения. «Мудрец простосердечный Ванюша Лафонтен» — так обрусил Пушкин Лафонтена с его простосердечием еще в лицейских стихах. Причем усвоил Пушкин не французский лоск, не моду, а нечто глубоко народное, идущее из народной среды. За эту французскую прививку, которая так проявлялась в нем с детства, лицеисты не когда-нибудь, а в роковом 1812 году прозвали его Французом.

Но как пылко бушевал в этом маленьком московском Французе русский патриотизм! Чувства мальчишки времен Тильзита прорывались и в стихах тридцатых годов:

Ты помнишь ли, как за горы Суворов,
Перешагнув, напал на вас враспloh?
Как наш старик трепал вас, живодеров,
И вас давил на ноготке, как блох?

Мальчишеская ярость за унижение, будто еще не было ни изгнания «двунадесяти языков» из России, ни взятия Парижа. То же прорвалось и в стихах «Клеветникам России»:

Иль старый богатырь, покойный, на постеле,
Не в силах завинтить свой измайльский штык?

Зачем он сейчас, если еще в строю победители Наполеона? Старый богатырь, сподвижник Суворова, — предмет детского обожания Пушкина. Это и сосед семидесяти лет из «Городка», «с очаковской медалью на раненой груди». Это и бригадир Димитрий Ларин, чьей очаковской медалью играл маленький Ленский, сидя на коленях у старика.

Детские эмоции 1807 года не зря проникли в стихи 30-х годов. Память девятого года его жизни была для поэта также историческим опытом. Вспоминая Тильзит, он как бы предчувствовал новую антирусскую коалицию, новое поражение России. И у него были для этого резоны: «Несколько офицеров под судом за неисправность в дежурстве, — записывает поэт в ноябре 1833 года. — Великий князь застал их за ужином, кого в шлафроке, кого без шарфа... Он поражен мыслью об упадке гвардии. Но какими средствами он думает возвысить ее дух?» Поэт понимает, что авторитарность, формалистика гибельны даже для военных. В его детстве все было иначе: «В начале царствования Александра офицеры были своевольны, заносчивы, неисправны — а гвардия была в своем цветущем состоянии». «Свободой Рим возрос, а рабством погублен».

Об этом он предупреждал Николая I в самом начале его царствования: «Слишком жестокое воспитание сделает из них палачей, а не начальников». Так оно и вышло. Наполеона победили куда более свободные люди, чем те, кого Николай I выставил потом против англичан, французов, турок, сардинцев в Крымской войне. Иной раз, например, в «Романе в письмах», Пушкин говорит о прежних гвардейцах с иронией: «Охота тебе корчить г. Фобласа и вечно возиться с женщинами. Это недостойно тебя. В этом отношении ты отстал от своего века и сбиwaешься на *si-devant* гвардии хрипуна 1807 г.» Пушкин не идеализировал будущих победителей Наполеона. Но они не были палачами. Как часто мысль Пушкина обращается к 1807 году! «Календарем осьмого года» был украшен кабинет дяди Онегина. Для Онегина это ветошь, древность. Для Пушкина он был вечно сегодняшним.

«Достигнув шестилетнего возраста, он стал резв и шаловлив», — писала сестра. К восьми годам он, говоря его же словами, уже давал себе ясный отчет в том, что происходило с ним, со страной, с миром. Людей

моего поколения это не удивит. Мы отлично помним время, когда нам было по восемь лет. 1936—1937 годы: надежды на конституцию и ужас ночных арестов, испанская война и перелеты через Северный полюс в Америку. Наше детство, как и детство Пушкина, было политическим, мы волей-неволей были включены в историю, к которой без конца обращается наша мысль подобно тому, как мысль Пушкина возвращалась к 1807 году, году, «когда унизились цари».

Но этот возраст, возраст первой утраты и ранней любви, взлета русского патриотизма и бурного сочинительства на французском языке, детских шалостей и молчаливого сидения в кабинетах взрослых, как-то особенно много значил для Пушкина. А раз так, то он, естественно, считал, что столько же этот возраст значит и для других, для мальчиков и девочек. Он даже горевал об этом возрасте почти в тех же интонациях, в каких потом Есенин будет грустить об утраченной свежести, буйстве слов и половодье чувств. А стихи посвящены девочке восьми лет:

Вам восемь лет, а мне семнадцать било.
И я считал когда-то восемь лет;
Они прошли.— В судьбе своей унылой
Бог знает как я ныне стал поэт.

Мало того:

Не возвратить уже того, что было,
Уже я стар, мне незнакома ложь.

Вот так так! Общее место, что дети простодушны, а взрослые лгут. Но семнадцатилетний автор оплакивает даже детскую ложь. Вот как он ее понимал. «На своей скале,— пишет он брату Льву в 1825 году,— Наполеон поглупел — во-первых, лжет, как ребенок». И поясняет: «т. е. заметно». В статье «Дельвиг» он добавляет: «В детях, одаренных игривостью ума, склонность ко лжи не мешает искренности и прямотушью». Об этом он и вздохнул в 17 лет, обращаясь к восьмилетней А. М. Дельвиг.

Для Пушкина ребенок 7—8 лет — уже личность, к которой надо относиться всерьез. Вот что он в 1830 году пишет Вяземскому в ответ на критические замечания восьмилетнего Павлуши Вяземского, присланные отцом, надо думать, ради курьеза. Поэт отнесся к критике восьмилетнего мальчика весьма серьезно, проявив то, что он называл «уважением к летам»: «критика кн. Павла веселит меня, как прелестный цвет, обещающий со временем плоды. Попроси его переслать мне свои замечания; буду на них отвечать непременно». В другом письме он сообщает: «Кланяюсь всем твоим и грозному критику Павлуше. Я было написал на него ругательскую антикритику, слогом Галатеи — взяв в эпиграф Павлуша медный лоб приличное названье! собирался ему послать, не знаю, куда дел».

Маршак говорил, что у человека два возраста: фактический и детский, соответствующий его характеру. Пушкину (именно в этом возрасте он стал, как сообщает сестра, «резв и шаловлив») по такому счету 7—8 лет. И этот 7—8-летний ребенок, с каким он так грустно простился в 17 лет, жил в нем постоянно. Потому-то он так резвился и шалил в письмах к Вяземскому по поводу критики его восьмилетнего сына. Уважение к ребенку и отвращение к взрослым прописям и нотациям звучит и в стихах, обращенных к Павлуше:

Душа моя Павел,
Держись моих правил,
Люби то-то, то-то,
Не делай того-то.
Кажись, это ясно.
Прощай, мой прекрасный.

А через три года в дни своей свадьбы как единственному человеку, способному его понять, Пушкин читал десятилетнему Павлу Вяземскому русские народные песни, видимо, свадебные.

Подобно тому, как это потом сделал Корней Чуковский, Пушкин иногда ставил знак равенства между детским и народным. Так в статье «О народной драме и драме «Марфа Посадница» появилась отточенная формула: «Народ, как дети, требует занимательности, действия». Этого он сам требовал от литературы в детстве. То же, но в иронической форме, пишет он о критиках «Эды», поэмы Баратынского: «Как дети, от поэмы требуют они происшествий». В этой заметке нам интересно одно суждение, относящееся к героине поэмы, но не в связи с героем, а как суждение о детстве: «Эда любит, как дитя, радуется его подаркам, резвится с ним, беспечно привыкает к его ласкам». Дитя радуется подаркам взрослому, резвится с ним, привыкает к его ласке, и оно беззащитно.

Детские чувства, чувства, пережитые в детстве, дают произведениям Пушкина прежде всего народность. Как бы он над этим ни иронизировал, его произведения, если не считать абсолютно «взрослых» «Истории Пугачева» или, скажем, «Путешествия в Арзрум», в высшей степени занимательны. И еще. Эмоции, пережитые в детстве, любимые поэтом, бережно им лелеемые, входя в состав его сочинений, сообщают им какое-то непостижимое, таинственное очарование, воздействуя, как утверждают ученые, на правое, иррациональное, эмоциональное полушарие мозга, делают многое в них по-своему понятным детям, особенно 7—8-летним, как Павлуша Вяземский. О том, как «взрослый» Пушкин отозвался в сознании ребенка до восьми лет, точно и прекрасно пишет Марина Цветаева в очерках «Мой Пушкин» и «Пушкин и Пугачев».

«Только сейчас,— замечает она,— проходя пядь за пядью Пушкина моего младенчества, вижу, до чего Пушкин любил прием вопроса: «Отчего пальба и клики?— Кто он?— Кто при звездах и при луне?— Черно-

горцы, что такое?» — и т. д. Если бы мне тогда совсем поверить, что он действительно не знает, можно было бы подумать, что поэт из всех людей тот, кто ничего не знает, раз даже у меня, ребенка, спрашивает». И все-таки маленькая московская девочка самого конца XIX века, сопротивляясь «подсказкам» поэта, «каждую, невольно, видела,— строка за строкой, как умела, по-своему, стихи — видела. Историческому Пушкину моего младенчества я обязана неизбывными видениями». А про Пугачева из «Капитанской дочки» Цветаева сказала: «Вожатого я ждала всю жизнь, всю свою огромную семилетнюю жизнь». Такая же огромная семилетняя жизнь была и у самого Пушкина.

Но если 7—8 лет были впрямь внутренним, «детским» возрастом Пушкина, то, может быть, сохранился и автопортрет Пушкина, изобразившего себя в этом возрасте? Да, он сохранился на черновике второй главы «Евгения Онегина». Семи-восьмилетний Пушкин прекрасно поместился во весь свой детский (голова в пять с половиной раз меньше всей фигуры) рост рядом со строчками о няне. Тут уместно, кстати, вспомнить еще один пункт из Первой программы автобиографических записок — «Гувернантки»:

Ни дура англинской породы,
Ни своенравная мамзель.
В России по уставу моды
Необходимые досель,
Не стали портить Ольги милой.
Фадеевна рукою хилой
Ее качала колыбель,
Она же стлала ей постель,
Она ж за Ольгою ходила,
Бову рассказывала ей,
Чесала шелк ее кудрей,
Читать — помилуй мя — учила,
Поутру наливала чай
И баловала невзначай.

Итак, фигура в полный рост совершенно детских пропорций, в несколько нелепом, кое-как накрученном тюрбане с пером, огромным, черным, в накидке-пелерине с бахромой или кистями внизу и на коротком широком рукаве, в короткой рубашке, подпоясанной несоразмерно большим женским поясом, конец которого свисает из-под накидки. К рубашке на живую нитку подшита или приколоты булавками (оставлен зазор) нижняя часть одяния типа капота, спускающегося ниже колен. Детская рука полусогнута и сжата в кулачок, на тонких ножках мягкие остроносые сандалии.

Это изображение считается то воображаемым портретом Ибрагима Ганнибала, то автопортретом («взрослым») в виде арапа, «самым уничи-

жительным из пушкинских автопортретных изображений» (Абрам Эфрос), то наброском некоего дворцового скорохода, даже портретом знакомой поэта А. Х. Крупенской, которая была на него похожа, то есть допускается, что существо, похожее на Пушкина, одето по-женски. Если привести все эти атрибуты к одному знаменателю, то почему бы не допустить, что перед нами Пушкин-ребенок, лет семи-восьми, который с помощью предметов женского туалета вырядился арапом или героем восточной сказки?

Об этом говорят и место (рядом со стихами о няне) портрета в рукописи, и детские пропорции фигуры, рук, ног (рисую себя, взрослого, в полный рост, поэт не искажал пропорций), и несоразмерная, неподогнанная одежда, и кудерки, более мелкие, чем на других автопортретах поэта. Выражение лица у этого озорника несколько взрословато. Но ведь Пушкин в 17 лет сказал об этом возрасте с уважением и печалью: «И я считал когда-то восемь лет». Этот возраст был ему чем-то особенно дорог, и, как мы показали выше, в 8 лет у поэта были очень серьезные переживания, радости и утраты.

НЕСТЕРПИМОЕ СОСТОЯНИЕ

Московское детство Пушкина не было безоблачным. Не зря в первой программе записок поэтом отмечены и «Первые неприятности», и «Мои неприятные воспоминания» и даже «Нестерпимое состояние». Пункту «Нестерпимое состояние» предшествуют в программе записок имена французов — учителей Пушкина: «Монфор-Русло», далее непонятные «Кат. П. и Ан. Ив.». А за «Нестерпимым состоянием» следует как бы выход из него — «Охота к чтению». Добавим, что и в начале программы записок за пунктами «Семья моего отца — его воспитание» шло «Французы-учителя». Отец воспитывал сына по собственному образцу.

Вторая программа записок датируется 1830 годом. Значит, и тогда зрелому Пушкину казалось совершенно нестерпимым нечто происшедшее с ним в детстве после того, как появились у него учителя, двое из которых даже заслуживали быть отмеченными в его биографии. Чтобы понять, какое состояние Пушкин мог счесть для себя нестерпимым, обратимся к его письмам и Дневнику.

Нестерпимое состояние, которое привело поэта к гибели, началось для него производством в камер-юнкеры («что довольно неприлично моим летам»). И тут он сразу вспомнил о детстве. «Меня спрашивали, — записывает он в Дневнике, — доволен ли я моим камер-юнкерством. Доволен, потому что государь имел намерение отличить меня, а не сделать меня смешным, — а по мне хоть в камер-пажи, только б не заставили меня учиться французским вокабулам и арифметике». Значит, детская зависимость от домашних учителей, подневольные занятия фран-

цузскими вокабулами и арифметикой были для мальчика, уже сочинявшего французские стихи, басни, поэмы, пьесы, чем-то более нестерпимым, чем столь ненавистное ему производство в камер-юнкеры.

Однако весной 1834 года, когда было вскрыто полицией и прочтено царем одно из писем поэта к жене, положение его сделалось совсем нестерпимым. И раз уж письма его перлюстрируются, то они становятся перепиской не только с женой, но и с царем. «Без политической свободы жить очень можно; без семейной неприкосновенности (...) невозможно: каторга не в пример лучше», — пишет он для Николая I. А Наталья Николаевна поясняет: «Это писано не для тебя».

А чуть раньше, мечтая «плюнуть на Петербург, да подать в отставку, да удрать в Болдино, да жить барином», Пушкин замечает: «Неприятна зависимость, особенно когда лет 20 человек был независим». И тут путем вычитания: 1834 — 20, мы получаем очень важную дату в жизни Пушкина, дату, с какой он считает себя независимым, — 1814 год. 15-летний лицеист опубликовал свое послание «К другу стихотворцу». Жизнь поэта в сознании читателя начинается с призыва не писать стихов, ибо это занятие — позор для бездарности и погибель для гения.

А если добавить, что поэт назвал свое воспитание проклятым и восполнил его недостатки лишь в Михайловском с помощью народных песен и сказок, то можно представить, с каким ужасом вспоминал он годы учения у нанятых отцом учителей. Зависимость не хуже той, в какую он попал при дворе Николая I. От нее лишь отчасти спасла охота к чтению.

Но Пушкин не был бы Пушкиным, если б и это не считал бедой, которая постигла многих. Возьмем те же французские вокабулы.

Итак, герой отрывка «Записки молодого человека» произведен в офицеры. Учение кончено. Что для недавнего кадета было особенно нестерпимо? «В ушах моих все еще отзывает шум и крики играющих кадетов, и однообразное жужжание прилежных учеников, повторяющих вокабулы — *le blouet, le blouet, василек, l'amarante, l'amarante*».

«Расти на воле без уроков», — произносит Алеко в черновике «Цыган». Став уроком, французский язык, на котором мальчик говорил, читал, мыслил, сочинял поэмы, басни, пьесы, сделался хуже каторги. Зачем вокабулы? Ведь, как он пишет в статье «О причинах, замедливших ход нашей словесности», «все наши знания, все наши понятия с младенчества почерпнули мы в книгах иностранных, мы привыкли мыслить на чужом языке». В записке «О народном воспитании» поэт не удержался: «К чему, например, 6-летнее изучение французского языка, когда навык света и без того слишком уж достаточен?» И если уж детям нужно что-то внушать, то Пушкин согласен только вот на что: «Надлежит заранее внушить воспитанникам правила чести и человеколюбия».

Ю. Н. Тынянов в романе «Пушкин» использовал эпизод с пьяным учителем из «Капитанской дочки», напоившим ученика. Но там, как отмечает Пушкин, «воспитывали не по-нонешнему». Ученические годы

Пушкина просвечивают, скорее, в «Русском Пеламе»: «Отец мой, конечно, меня любил, но вовсе обо мне не беспокоился и оставил меня на попечение французов, которых беспрестанно принимали и отпускали». То же и в доме Пушкиных. «Воспитание его и сестры Ольги Сергеевны,— пишет сама же Ольга Сергеевна,— вверено было иностранцам, гувернерам и гувернанткам. Первым воспитателем был французский эмигрант граф Монфор, человек образованный, музыкант и живописец, потом Русло, который писал хорошие французские стихи, далее Шедель и другие: им, как водилось тогда, дана была полная воля над детьми. Разумеется, что дети и говорили и учились только по-французски».

Казалось бы, чего лучше? Один учитель — музыкант и живописец, другой — поэт. Но за несколько лет сменились и трое названных Ольгой Сергеевной учителей, и несколько не названных ею, как бы мелькнувших в доме и не оставивших следа в памяти. В чем дело? Ответ в том же «Русском Пеламе», где, как мы уже знаем, «учителей беспрестанно принимали и отпускали»: «Виноватым остался я (...) Анна Петровна решила, что ни один из моих гувернеров не мог сладить с таким несносным мальчишкой. Впрочем, и то правда, что не было из них ни одного, которого бы я в две недели по его вступлении в должность не обратил в домашнего шута».

Теперь ясно, почему, например, исчез Шедель. Десятилетний Пушкин, по воспоминаниям сестры, начитавшись «Генриады» Вольтера, стал сочинять шутливую поэму «Толиаду» (а ему вокабулы!). Но драгоценная тетрадь с поэмой и другими стихами не дошла до потомства. «Гувернантка подстерегла тетрадку и, отдавая ее гувернеру Шеделю, жаловалась, что m-g Alexandre занимается таким вздором, отчего и не знает никогда своего урока. Шедель, прочитав первые стихи, расхохотался. Тогда маленький автор расплакался и в пылу оскорбленного самолюбия бросил свою поэму в печку». Первая из сожженных Пушкиным тетрадей! Теперь мы можем вообразить себе, как отомстил мальчик гувернеру, превратив его в домашнего шута. А ведь все могло быть иначе: «Я был резов, ленив и вспылчив, но чувствителен и честолюбив, и ласкою от меня можно было добиться всего,— сказано в «Русском Пеламе»,— к несчастью, всякий вмешивался в мое воспитание, и никто не умел за меня взяться. Над учителями я смеялся и проказил. (...) С отцом даже доходило до бурных объяснений, которые с обеих сторон оканчивались слезами».

Конечно, это не сам Пушкин, а его герой. Но привычки те же. Будь у него идеальная воспитательница, та самая «одетая убого, но видом величаява жена» из отрывка «В начале жизни школу помню я», он бы и тут переиначил и высмеял сказанное ею: «Дичась ее советов и укоров, Я про себя превратно толковал Понятный смысл правдивых разговоров».

Точно так же патетическая «Генриада» Вольтера превращалась у него в развеселую «Толиаду» про войну карликов и карлиц. Бедная поэма, полетевшая в огонь из-за гувернантки и гувернера.

Неуважение к ребенку было так же отвратительно поэту, как и неуважение к женщине, к ее интеллекту. Пушкин писал: «Даже люди, выдающие себя за усерднейших почитателей прекрасного пола, не предполагают в женщинах ума равного нашему и, приноравливаясь к слабости их понятий, издают ученые книжки для дам, как будто для детей и т. п.» Он и в детях предполагал ум, равный нашему, взрослому. Ученые книжки, может быть, им нужны другие, да и то не всегда.

«Учился Александр Сергеевич лениво, но рано обнаружил охоту к чтению,— пишет сестра,— и уже девяти лет любил читать Плутарха или «Илиаду» и «Одиссею» в переводе Битобе. Не довольствуясь тем, что ему давали, он часто забирался в кабинет отца и читал другие книги, библиотека же отцовская состояла из классиков французских и философов XVIII века. Страсть эту развивали в нем и сестре сами родители, читая им вслух занимательные книги. Отец в особенности мастерски читывал им Мольера».

Тут был парадокс. Сами родители, любившие и детей и литературу, делали детскими авторами Плутарха и Мольера. Но как светские люди, люди своей эпохи, своего круга, они были на стороне учителей и, не задумываясь, разделяли общее представление, что ум у детей не равен нашему, взрослому, и что воспитывать их нужно авторитарными методами, хотя сами они в общении с детьми вели себя иначе. Стараясь увлечь, занять их, заразить своей страстью к любимым книгам.

Нестерпимым состоянием для маленького Пушкина стала постоянная опека взрослых над его духовным развитием. Видимо, он сердился и на родителей, и на родных, и на друзей семьи за то, что они иной раз оказывались на стороне всех других взрослых, подобно тому, как, приехав в ссылку в Михайловское, не стерпел, что его отец согласился от имени властей надзирать за ним, и заставил Сергея Львовича снова стать только отцом, а не представителем начальства.

Мольер, прочитанный отцом, когда-то дал ему очень много: «Не странно ли в XIX веке,— сказано в заметке «Об Альфреде Мюссе»,— воскрешать чопорность и лицемерие, осмеянные некогда Мольером, и обходиться с публикой, как взрослые люди обходятся с детьми; не позволять ей читать книги, которыми сами наслаждаетесь, и впадать и невпадать ко всякой всячине приклеивать нравоучение. Публике это смешно, и она своим опекунам уж верно спасибо не скажет». Пушкин, «не помня зла, за благо» воздал лицейским «наставникам, хранившим юность нашу». Что же касается опекунов его детства, то им он спасибо не сказал и зло своего нестерпимого состояния не забыл. Оно, как кошмар, вспоминалось ему в самые нестерпимые моменты его жизни.

И тут он сознавал, что состояние, испытанное им в детстве, нестерпимо не только для него. «В России домашнее воспитание,— писал он

царю в записке «О народном просвещении», — есть самое недостаточное, самое безнравственное: ребенок окружен одними холопями, видит одни гнусные примеры, своевольтничает или рабствует, не получает никаких понятий о справедливости, о взаимных отношениях людей, об истинной чести. Воспитание это ограничивается изучением двух или трех иностранных языков (плохо ли? — В. Б.) и начальным основанием всех наук, преподаваемых каким-нибудь нанятым учителем». И еще соображение о воспитании, до сих пор, увы, не устаревшее: «Россия слишком мало известна русским».

Холопство и гнусные примеры Пушкин в детстве находил где угодно, но только не у товарищей своих игр, составлявших «мальчишек радостный народ», не у дворовых мальчишек, множество раз помянутых им и воспетых. Появление их дает произведению Пушкина какую-то особую теплоту. Вот, например, начало недописанной грустной повести: «На углу маленькой площади, перед деревянным домиком стояла карета, явление редкое в сей отдаленной части города. Кучер спал, лежа на козлах, а форейтор играл в снежки с дворовыми мальчишками». Форейтор — тоже мальчик, но чуть постарше. Один из них даже забежал сразу в две его повести. В «Станционном смотрителе» это сын пивовара, который показывает могилу несчастного зрителя. «Эй, Ванька, полно с кошкой возиться». И к рассказчику выбежал «оборванный мальчик, рыжий и кривой». А в «Дубровском» Саша Троекуров, опустив кольцо сестры в заветное дупло дуба, тайный знак Дубровскому, видит, как «оборванный мальчишка, рыжий и косой, мелькнул из беседки, кинулся к дубу и опустил руку в дупло». В «Повестях Белкина» он — кривой, зовут его Ванька и живет он в зажиточной избе пивовара. В «Дубровском» это маленький разбойник Митька, он уже не кривой, а косой, и никого у него нет, кроме бабки в полуразвалившейся избушке. Но за обоими видится какой-то рыжий мальчишка с поврежденным глазом, хорошо знакомый автору. Может, он дрался с маленьким Сашей Пушкиным, как в «Дубровском», где этот русский спартаец превзошел барчонка и честью и стойкостью. В «Станционном смотрителе» он приметлив и приветлив. Пушкин охотно наделяет Ваньку и Митьку прямой речью и сам вместе с читателем любит ее.

Играл ли маленький Пушкин с нарочно собранными для него «потешными», как Ольга Ларина, или, как Татьяна, не хотел играть и прыгать в их толпе? Дрался ли он с ними, как Саша Троекуров? Гонял ли кубаря, как мальчик на его рисунке в рукописи «Руслан и Людмила»? Во всяком случае, он их знал, любил, понимал, как потом понимал мужиков на ярмарке в Святых горах или баб, у которых записывал свадебные песни. Впрочем, иные из них могли быть товарищами его детства, как это было у Белкина: «Мои потешные мальчишки были уже мужиками, а сидевшие некогда на полу для посылок девчонки замужними бабами». И словно из детства Пушкина мелькнули на границах владений Белкина

«цветущие поля захарьинские, благоденствующие под властью мудрых и просвещенных помещиков». Что стоит за этой иронией?

Ему было с кем сопоставить нравы иных «мудрых и просвещенных помещиков». «Недоросль» Фонвизина он любил с детства. Вот как воспринимали истинно просвещенные молодые герои «Романа в письмах» тогдашние нравы: «Какая дикость! для них еще не прошли времена Фонвизина. Между ними процветают еще Простаковы и Скотинины». Скотининых он увидел на балу у Лариных:

Скотининых, чета седея,
С детьми всех возрастов, считая
От тридцати до двух годов.

Он многому научился в детстве от крестьянских детей:

Старайся наблюдать различные приметы:
Пастух и земледел в младенческие леты,
Взглянув на небеса, на западную тень,
Умеют уж предречь и ветр, и ясный день,
И майские дожди, младых полей отраду.

Не так-то просто сквозь классическую музыку александрийского стиха понять, что это в сущности стихи о детстве Пушкина и что уважительное «пастух и земледел в младенческие леты» относится к столь близким труду родителей детям крепостных пастухов и пахарей. В стихах «Приметы» эти дети свободны, как и их отцы, не зря Пушкин срифмовал «отраду-винограду», тем самым уводя их из среднерусской полосы. Самая мысль о них в то время мучила душу поэта: «Но мысль ужасная здесь душу омрачает». Его товарищи могли предсказывать погоду. Но что мог предсказать им маленький барин из Захарова?

Младые сыновья, товарищи трудов,
Из хижины родной идут собой умножить
Дворовые толпы измученных рабов.

Другом человечества назвал он таких, как он сам, в «Деревне». Надо полагать, что таким другом человечества, которому отвратителен «невежества губительный позор», он был еще в детстве, до Лицея, и что «дней Александровых прекрасное начало» дало вольнолюбивые надежды не только тем, кого он молча слушал в кабинетах отца или Бутурлина и что не только взрослые мечтали увидеть «народ неугнетенный», «рабство павшее по манию царя» и прекрасную зарю над Россией, «отечеством свободы просвещенной».

Очень возможно, что, изображая себя в виде молодого якобинца или жирондиста в костюмах времен Французской революции, Пушкин

воспроизводит свои детские мечты. Был он свидетелем и безнадёжного разочарования в идеалах революции: тут и якобинский террор («Мы свергнули царей. Убийцу с палачами Избрали мы в цари»), и наполеоновский деспотизм («Явился муж судеб, рабы затихли вновь, Мечи да цепи зазвучали»).

И если даже в 1807 году, в год Тильзита, так потрясший мальчишескую душу, Пушкин вслед за иными патриотами не отверг французский язык, то это произошло, возможно, еще и потому, что этот язык был для него языком, на котором заговорила свобода:

Но ты, священная свобода,
Богиня чистая, нет,— не виновна ты.

Он уверен, что она еще придет «со мщением и славой» и ее враги вновь падут, ибо «народ, вкусивший раз твой нектар освященный, Все жаждет вновь упиться им».

«Некоторые люди не заботятся ни о славе, ни о бедствиях отечества, его историю знают только со времен кн. Потемкина, имеют некоторое понятие о статистике только той губернии, в которой находятся их поместья, со всем тем почитают себя патриотами, потому что любят ботвинью и что дети их бегают в красной рубашке».

Крестьянских детей Пушкин водит по многим своим произведениям. На минуту приподнялась завеса даже над «ребячеством» Пугачева, откуда идет знаменитая сказка старой калмычки про орла и про ворона. Но вот Пугачев подходит к Белогорской крепости, гарнизон готовится к бою. И мы видим коменданта, «который вытаскивал из пушки тряпички, камушки, щепки, бабки и сор всякого рода, запиханные в нее ребятишками». Прямо-таки антивоенный плакат! Но замечательно то, что идеи Руссо в вечном мире были по-детски понятны маленькому «другу человечества». В 1821 году Пушкин набрасывал по-французски трактат о вечном мире и вместе с Руссо горевал, что «идея вечного мира в настоящее время весьма абсурдный проект», но надеялся, что «вечный мир станет снова реальной целью», хотя и боялся, что «все это может быть достигнуто лишь средствами жестокими и ужасными для человечества». Пушкин пояснил: «Ясно, что эти ужасные средства, о которых он говорил,— революция». И вот — ссылка на детское восприятие, на детство: «Я знаю, что все эти доводы очень слабы, и свидетельство такого мальчишки, как Руссо, не одержавшего ни одной победы, не может иметь никакого веса». Мальчишка Руссо, мечтающий о вечном мире после того, как пережито самое жестокое и ужасное для человечества. Думаю, что он был более чем понятен московскому мальчишке Пушкину.

И вот такого поэта и мыслителя пытались сделать ребенком вообще, ребенком, каким он должен быть по мнению взрослых. Но когда это удается взрослым, то они задерживают, останавливают его развитие, он навеки входит не в число взрослых людей, озабоченных достойными

взрослых мыслями, чувствами и делами, а в число «лукавых, малодушных, шальных, балованных детей», «разносчиков послушных чужих суждений и вестей». Об этой духовной невзрелости, об инфантилизме взрослых людей, чье духовное развитие было остановлено в детстве, кому неведомо «самостоянье человека, залог величия его», Пушкин говорит очень часто. Вот что он написал лицейскому другу:

Я помню их, детей самолюбивых,
Злых без ума, без гордости спесивых,
И, разглядев тиранов модных зал,
Чуждаюсь их укоров и похвал.

Это из послания Горчакову. А через 10 лет он пишет Дельвигу:

Избаловало нас начало.
И в гордой лености своей
Заботились мы оба мало
Судьбой гуляющих детей.

Ясно, что речь идет не о детях, а о взрослых, так никогда и не созревших. Вот что он пишет Вяземскому о Горчакове в 1825 году: «Он ужасно высох — впрочем, так и должно: зрелости нет у нас на севере, мы или сохнем, или гнием, первое все-таки лучше».

Жизнь не останавливается. Если не развиваешься духовно, то сохнешь или гниешь, а то и просто глупеешь. «Время изменяет человека как в физическом, так и в духовном отношении. Муж со вздохом или с улыбкою отвергает мечты, волновавшие юношу. Моложавые мысли, как и молодежавое лицо, всегда имеют что-то странное и смешное. Глупец один не изменяется, ибо время не приносит ему развития, а опыты для него не существуют», — пишет он в очерке «Радищев».

В «Детской книжке», которую он так и не напечатал, Пушкин пародирует нотации воспитателей, взгляды взрослых людей, солидных издателей и критиков, с его точки зрения незрелые, инфантильные. Вот «Ветреный мальчик», пародия на Н. А. Полевого, критика, историка, издателя «Московского телеграфа»: «Алеша был очень не глупый мальчик, но слишком ветрен и заносчив. Он ничему не хотел порядочно научиться. Когда учитель ему за это выговаривал, то он старался оправдаться всякими увертками. Когда бранили его за то, что он пренебрегал французским или русским языком, то он отвечал, что он русский, и что довольно для него, если он будет понимать слегка иностранные языки. Латинский, по его мнению, вышел совсем из употребления, и одним педантам простительно было им заниматься; русской грамматике не хотел он учиться, ибо недоволен был изданною для народных училищ и ожидал новой философической».

Разные увертки, о которых пишет Пушкин, выражают незрелость, инфантильность вполне взрослого мира. Вот ведь какой патриот: латынь для него (он к тому же и прогрессист) — педантство, иностранные языки оскорбляют его русское чувство. Так знай же хоть русскую грамматику. Нет, и от нее он увернется. А дальше — немного о вокабулах и четырех правилах арифметики, которые, как мы помним, были для мальчика Пушкина хуже каторги: «Логика казалась ему наукой прошлого века, недостойною наших просвещенных времен, и когда учитель бранил его за вокабулы, Алеша отвечал ему именами Шеллинга, Фихте, Кузена, Герена, Нибура, Шлегеля и проч.— Что же? при всем своем уме и способностях Алеша знал только первые четыре правила арифметики и читал довольно бегло по-русски,— прослыл невеждою, и все его товарищи смеялись над Алешею».

Вот такими незрелыми — одни сохнут, другие гниют, третьи глупеют — казались поэту даже его незаурядные современники и коллеги. Незрелостью он мимоходом объясняет и то, что Онегин убил друга на дуэли. Этого могло не случиться, будь Онегин «не мячиком предрассуждений» (образ, идущий из детства), «не пылким мальчиком, бойцом, а мужем с честью и умом».

При «проклятом воспитании» взрослый выглядит пародией на ребенка, а ребенок — пародией на взрослого. Вот сын современного Фальстафа: «Четырехлетний сынок его, вылитый отец, маленький Фальстаф III, однажды в его отсутствие повторял про себя: «Какой папенька хлабий! как папеньку госудаль любит!» Мальчика подслушали и кликнули: «Кто тебе это сказал, Володя?» — Папенька,— отвечал Володя».

А вот как малый ребенок пародирует взрослый мир. Это дочь Пушкина. «Маша просится на бал,— сообщает он теще в 1835 году,— и говорит, что она танцовать уже выучилась у собачек».

И еще пародия на мир взрослых. Так закладывается программа будущей женщины: ей суждено и детскости лишиться, и не стать по-настоящему взрослой, то есть личностью, зрелой и самостоятельной:

Охоты властвовать примета,
С послушной куклою дитя
Приготовляется, шутя,
К приличию, закону света,
И важно повторяет ей
Уроки маменьки своей.

Развитие Ольги Лариной на этом как бы закончено. Она всегда будет куклой, хотя и самолюбивой. Ни в чем не повинные куклы вдруг оказываются символом зла, лучше бы без них:

Но кукол даже в эти годы
Татьяна в руки не брала,

В углу о переменах моды
Беседы с нею не вела.

И еще страшноватая пародия на мир взрослых. Она в сказке, записанной им и, видимо, знакомой с детства. Кузнецким сыном подменяют царевича. Теперь царевич — крестьянский мальчик. И что же? Он ведет себя как прирожденный монарх: «Молодой царевич собирает маленькую шайку, ребята признают его царем, ибо по его велению береза преклонилась и лягушки замолкли. Царенок делает виселицу, вешает, кнутом сечет и в ссылкусылает».

И тут вспоминается пушкинская записка «О народном воспитании», где сказано, что слишком жестокое, то есть авторитарное воспитание делает не начальников, а палачей. Ибо этот мальчик — палач. А еще о том, что окруженный одними холопами, видя одни гнусные примеры, ребенок своевольничает или рабствует. И наконец, вспоминаются строки стихов о «ребячестве, бессмысленном и злом», о детской жестокости. В статье «О поэзии классической и романтической» мы снова встречаемся со словом «ребячество»: «Во Франции просвещение застало поэзию в ребячестве, без всякого направления, без всякой силы». Тут-то оно и становится бессмысленным и злым. «Без всякого направления, без всякой силы». Некоторые воспоминания позднего долицейского детства, этого самого ребячества, были для Пушкина нестерпимыми, наверно, еще и потому, что вызывали в нем чувство вины или стыда. Один из эпизодов бессмысленной и злой ребяческой жестокости, своего рода палачества, как у царевича из сказки, может быть, просвечивает и в стихах «Не дай мне бог сойти с ума» и в эпизоде пытки башкирца в «Капитанской дочке». «Посадят на цепь дурака И за решетку, как зверка, Дразнить тебя придут», — с ужасом и отвращением пишет он стихами. А вот проза: «Два инвалида стали башкирца раздевать. Лицо несчастного изобразило беспокойство. Он оглядывался на все стороны, как зверок, пойманный детьми». А вдруг и стихи, и проза основаны на каком-то личном мучительном воспоминании о детской жестокости, которая может обернуться взрослым палачеством? Все это с точки зрения истинного ребенка, получившего нравственное воспитание, и истинного взрослого выглядит нелепо. Пушкину присуща презумпция невиновности: «Думали, что собственное признание преступника необходимо было для полного его обличения, — мысль не только неосновательная, но даже совершенно противная здравому юридическому смыслу; ибо если отрицание подсудимого не принимается в доказательство его невиновности, то признание его и того менее должно быть доказательством его виновности». Простая мысль из «Капитанской дочки», понятная и ребенку!

Итак, нестерпимость положения, о котором Пушкин, возможно, написал в уничтоженных записках и во всяком случае собирался написать в новых записках, коренится в его нетерпимости ко многим нравам и обычаям, привычным и даже не воспринимавшимся многими как нечто

безнравственное, варварское, да еще и ребяческое. Уже в детстве эта нетерпимость к «проклятому воспитанику» и его еще более проклятым результатам, к нравам барства и холуйства проявлялась в жажде революций, насильственных переворотов. В зрелости он остался столь же нетерпимым к этому, но был настроен менее ожесточенно: «Молодой человек! если записки мои попадутся в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений». Эту фразу Пушкин подарил Гриневу, юному герою «Капитанской дочки».

ФАТАМ, ИЛИ РАЗУМ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

Что-то загадочное есть в этих строках из «18 октября»:

Невидимо склоняясь и хладея,
Мы близимся к началу своему.

Почему к началу, а не к концу? Не в то небытие, куда уходим, а в то, откуда пришли? Может быть, это как бы возвращение к тем, кого уже нет? Они ждут нас в Элизее, «как ждет на пир семья родная Своих замедливших гостей». Но лицеисты, к кому обращены эти стихи, вспомнили бы и тот исчезнувший философский роман «Фатам, или Разум человеческий», который Пушкин сочинил в Лицее. Благодаря лицеистам он и стал известен. «Некоторые из его товарищей,— пишет П. В. Анненков в «Материалах для биографии А. С. Пушкина»,— еще помнят содержание романа «Фатама», написанного по образцу сказок Вольтера. Что же это за роман?

«Дело в нем шло о двух стариках, моливших небо даровать им сына, жизнь которого была бы исполнена всех возможных благ. Добрая фея возвещает им, что у них родится сын, который в самый день рождения достигнет возмужалости и вслед за этим — почестей, богатства и славы. Старики радуются, но фея предлагает условие, говоря, что естественный порядок вещей может быть нарушен, но не уничтожен совершенно: волшебный сын их с годами будет терять свои блага и нисходить к прежнему своему состоянию, переживая вместе с тем года юношества, отрочества и младенчества до тех пор, пока снова не очутится в руках их беспомощным ребенком. Моральная сторона сказки состояла в том, что изменение натурального хода вещей никогда не может быть к лучшему».

Выходит, Фатам близился к началу своему! А в самый день рождения уже был взрослым. Нечто подобное случилось и с самим Пушкиным, во всяком случае, в глазах его исследователей. Человек, лишенный детства и сразу ставший гениальным юношей, таким князем Гвидоном,

Детства, мол, у него не было, оно как бы не считается, будто прошло оно в бочке, скрытое от всех, прошло сказочно быстро, и вот уже Пушкин-Гвидон на лицейском острове Бюяне читает стихи царю поэтов.

Есть у Пушкина персонаж, чья жизнь и впрямь пошла обратным ходом. Это усталый путник из «Подражаний Корану», заснувший под пальмой в пустыне. Проснувшись, решил, что спал долго, с утра до утра, и вдруг обнаружил, что в этом сне прошла жизнь, что лег-то он молодым, а восстал старцем. Интонация, как у Лермонтова, в еще не написанных им «Трех пальмах»:

Уж пальма истлела, а кладезь холодный
Иссяк и засохнул в пустыне безводной,
Давно занесенный песками степей;
И кости белеют ослицы твоей.

Но «горем объятый мгновенный старик» в одно мгновение проделал обратный путь, путь Фатама, и дошел по нему до своей молодости:

...чудо в пустыне тогда совершилось:
Минувшее в новой красе оживилось.

Чудо, совершенное Аллахом, может совершить каждый с помощью воспоминания. Оно происходит с пушкинским Пименом в «Годунове»:

На старости я сызнава живу.
Минувшее проходит предо мною.

Очень часто мысль Пушкина шла путем Фатама и усталого путника из «Подражаний Корану», а заодно и летописца Пимена. И происходило чудо. Минувшее и впрямь оживлялось в новой красе. Еще в юности писал поэт, что «память ищет оживляться» и что сердце «тихим сном в минувшем любит забываться». Еще в молодости он назвал свое раннее детство «волшебной стариной». И опять, как в волшебной сказке, «живое очарованье» утекших дней весны, минут детства. И как колдовское заклинание к этим минутам: «Теките медленней в моем воспоминаньи». И вечно с ним стремление «душу освежить, бывалой жизнью пожить». Все это, все гениальное в себе он считает не своим, а общечеловеческим, нашим: «Или воспоминание самая сильная способность души нашей, и им очаровано все, что подвластно ему?»

Но и чужое воспоминание, идущее от людей, которых он видит и знает, тоже становится его собственным. Как, оказывается, еще близок, например, век Елизаветы Петровны. В той же Москве мальчик мог услышать от вдовы старого профессора: «О каком Ломоносове говорите вы? не о Михайле ли Васильевиче? то-то был пустой человек! бывало, от него всегда бегали к нам за кофейником».

Душа Пушкина, проделывая в одно мгновение долгий путь Фатама от нынешнего мига к началу, как ни в чем не бывало перелетала черту рождения, но и там ждала ее все та же «семья родная». «Ты не можешь вообразить,— сказано в «Романе в письмах»,— как странно читать в 1829 году роман, писанный в 1775-м. Кажется, будто вдруг из своей гостиной входим мы в старинную залу, обитую штофом, садимся в атласные пуховые кресла, видим вокруг себя странные платья, однако ж знакомые лица, и узнаем в них наших дядюшек, бабушек, но помолодевшими». Он и тут был как дома, во времени, которое так хорошо обжили для него его молодые родители и родичи с отцовской и материнской сторон. Отец и мать подарили ему удивительных предков, за которых он как бы благодарит их в «Моей родословной».

Странная вещь! Никто не ищет родителей поэтов в стихах Баратынского или Тютчева, или, скажем, Державина. Но что касается Пушкина, то тут вынь да положь образы отца и матери. А он воображал их молодыми, еще до своего рождения, собирался рассказать в записках и про учителей отца, и про свадьбу отца и матери. Судя по программе записок, его интересовали и «Отец и дядя в гвардии», и «Их литературные знакомства», и «Бабушка, и ее мать — их бедность», и то, как «Отец выходит в отставку и едет в Москву». А в описании лицейской жизни есть (должны были быть) эпизоды «Приезд матери» и «Приезд отца». А среди эпизодов раннего детства — «Отъезд матери в деревню», скорее всего в Захарово. Но этих записок Пушкин не написал, а более ранние уничтожил. А уж там-то, верно, шла речь и об отце с матерью. И это, возможно, были страницы, которые вряд ли могли бы «умножить число жертв» декабрьского восстания. И все же поэт, как мне кажется, с легким сердцем уничтожил эти страницы.

А где же образы его родителей в сочинениях Пушкина? Не станешь же искать черты Сергея Львовича в таких отцах, как мельник из «Русалки» или Димитрий Ларин, бригадир. А на кого из написанных Пушкиным матерей была похожа Надежда Осиповна? Может, на царицу из «Салтана», которая, согласно доносу сестер-завистниц, родила «не то сына, не то дочь, не мышонка, не лягушку, а неведому зверушку»? Может, найти в этом намеке на африканское происхождение младенца? Нет, тут ближе к реальным обстоятельствам жизни Пушкина, разве что почтение князя Гвидона к своей матери. А может, надо искать сходство с ней в той матери, что кладет «тайный плод любви несчастной» у порога чужого дома, и предположить, что это порог Лицея? Но и об этой матери поэт сказал с уважением и сердечным сочувствием:

Мой ангел будет грустной думой
Томиться меж других детей!
И до конца с душой угрюмой
Взирать на ласки матерей.

Как относился Пушкин к родителям? Может быть, так же, как столь родная ему по духу Татьяна Ларина?

Она ласкаться не умела
К отцу, ни к матери своей.

У всякого настоящего поэта есть тайные принципы, каких он никогда не нарушает. Мы знаем один из пушкинских — тайная свобода. Открыл он его читателям потому, что в лицейские годы ему случилось воспеть императрицу. И чтобы не прослыть льстецом, Пушкин в сущности должен был стихотворение посвятить тому, что он не льстец, что «любовь и тайная свобода» внушили ему этот «Гимн простой, что голос его неподкупен и совпадает с народным мнением («эхо русского народа»). То же в стихах к Николаю I: «Нет, я не льстец, когда царю Хвалу свободную слагаю».

А однажды он был вынужден сказать о еще одной тайне, без которой, как и без тайной свободы, он был бы уже не Пушкин. Об этом он прямо заявил царю... в письме к собственной жене, буде оно с помощью полиции окажется перед августейшим взором: «Без тайны нет семейственной жизни».

Нельзя сказать, что Пушкин выполнял все библейские заповеди, столь знакомые ему с детства. Судя по рецензии «Об обязанностях человека. Сочинение Сильвио Пеллико», у него была в детстве «младенческая простота сердца к проповеди великого учителя». Правда, решился сказать об этом только в применении к раннему детству. Ибо не зря он потом «про себя превратно толковал Понятный смысл правдивых разговоров» убого одетой, явно глубоко религиозной «величавой жены» из стихов «В начале жизни школу помню я». Очень возможно, что в лицейских стихах «Безверие» изображены переживания 11—12-летнего вольнодумца, вольтерьянца и чуть ли не якобинца, «того, кто с первых лет Безумно погасил отрадный сердцу свет». «Когда бы верил я», — произнес он через несколько лет. В «Безверии» звучит горькое сожаление об утра-те одного из детских чувств:

Во храм ли Вышнего с толпой он молча входит,
Там умножает лишь тоску души своей.
При пышном торжестве старинных алтарей,
При гласе пастыря, при сладком хоров пенье,
Тревожится его безверия мученье.

Потом ему случалось шутить над этим, узнать чувства атеиста, деиста, пантеиста, кого хотите, а в поздние годы снова опозитизировать религиозное чувство. Но даже в шутовском разговоре с Богом он серьезно относился к десяти заповедям. Кстати, десятая гласит: «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни ра-

быни его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». В 1821 году поэт посвятил этой заповеди целое стихотворение:

Ни дом его, ни скот, ни раб,
Не лестная мне вся благостыня.
Но ежели его рабыня
Прелестна... Господи! я слаб!
Но ежели его подруга
Мила, как ангел во плоти...

И все же даже тут мелькает: «строгий долг умею чтить».

Но нигде у Пушкина не найдешь ни тени сожаления, насмешливого или серьезного покаяния по поводу пятой заповеди: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе». Перед этой заповедью Пушкин был чист и свят, хотя его нельзя назвать послушным сыном, ибо превыше всего он ставил свою независимость.

Родители как бы обжили для него, сделали своим огромный период русской истории. Всюду его ждала семья родная. Подумает об Александре Невском, но ведь ему служил предок Радша своею «мышцей бранной». Перенесется ли во времена Бориса Годунова, и тамошний Пушкин заговорит с Самозванцем. А рядом с Петром Первым очень быстро окажутся и тот прадед по отцовской линии, который не поладил с царем и был за то повешен им, и прадед по материнской линии, арап Петра Великого.

Упрямства дух нам всем подгадил.

Всем, значит, и отцу, Сергею Львовичу. Родители в сознании автора уничтоженных или ненаписанных записок и, уж конечно, «Моей родословной» — лица исторические. По какой же причине они там не упомянуты? По той же, по какой у Ибрагима Ганнибала была, кроме его судьбы и деятельности, еще такая заслуга:

И был отец он Ганнибала,
Пред кем средь чесменных пучин
Громада кораблей вспылала,
И пал впервые Наварин.

А Сергей Львович? Про него тоже можно сказать: «И был отец он» того... И далее по тексту «Памятника». Отец незримо присутствует в «Моей родословной». Восшествие на престол Екатерины II. Дед поэта верен свергнутому Петру III.

Попали в честь тогда Орловы,
А дед мой в крепость, в карантин,

И присмирел мой род суровый,
И я родился мещанин.

Деда в крепость, внука — в ссылку, под надзор... Значит, присмирел лишь один представитель некогда сурового рода. Профиль С. Л. Пушкина (но под вопросом) Т. Г. Цявловская опознала на листе в рабочей тетради Пушкина, том самом, где виселица с пятью повешенными декабристами, а над ней стих, который исследовательница восстановила так:

И я бы мог, как шут, ви[сеть].

Шесть беглых и два законченных профиля дяди В. Л. Пушкина. И — отец, горбоносый старик, верх сюртука с плечом, стоячий ворот, редкие волосы. Высоко поднятая бровь, как бы прикушенные в привычной иронической гримасе губы, прищуренный глаз. Видны порода, уверенность в себе, но и смиренность представителя некогда сурового рода. Лицо аристократичное, но его не назовешь независимым. Личность, участвующая в истории, но не творящая ее. Как бы эскиз для большого, несколько торжественного, с отблеском трагических событий портрета для галереи предков. И что-то от скульптурного психологического портрета римского вельможи.

И снова об уничтоженных записках: «Не могу не сожалеть о их потере, я в них говорил о людях, которые после сделались историческими лицами, с откровенностью дружбы или короткого знакомства. Теперь некоторая театральная торжественность их окружает и, вероятно, будет действовать на мой слог и образ мыслей». Это может относиться и к образу отца.

Любили ли Пушкина родители? Не будем обращаться к мемуаристам и исследователям, а сопоставим два высказывания самого поэта. Начнем с косвенного:

Так нелюбимое дитя в семье родной
К себе меня влечет.

И — прямое. в автобиографическом отрывке «Карамзин»: «Болезнь остановила на время образ жизни, избранный мною. Лейтон за меня не отвечал. Семья моя была в отчаянии...» Правда, второе свидетельство относится к юности поэта.

А теперь — образ матери. Я различил его на фотокопии рукописи «Египетских ночей». Сверху большой профиль женской головы, удивительно похожий на пушкинский, «в женском варианте». Скорее всего это его сестра О. С. Павлицева. Чуть внизу и справа от нее еще один женский профиль с такой же прической, с таким же длинным локоном, падающим с виска на шею, прорисованы шея и узкое девичье плечо.

Сходство с самим поэтом приглушено. Возможно, это более похожее изображение Ольги Сергеевны в ее девичестве. Чувствуется застенчивость, серьезность, трогательная некрасивость девушки.

Ниже — голова женщины лет за сорок, полнеющее лицо, с наметившимся вторым подбородком, с длинным вьющимся локоном, спадающим с виска на полную, невысокую, но крутую шею. Короткая бровь, не доходящая до уголка глаза. Нос пушкинский. Профиль несколько экзотичный, «креольский». Лицо задумчивое, властное. Женщина словно вслушивается во что-то и вот-вот что-то скажет.

Точно такие же черты у Н. О. Пушкиной на портрете работы Ксавье-де-Местра (1810 г.). Прическа на нем асимметричная, левый вьющийся локон, очень красивый, намного ниже правого и свисает до самой шеи. Форма носа та же, что и на рисунке Пушкина. На портрете мать Пушкина моложе, на рисунке виден второй подбородок. И все же сходство велико. Еще больше похож рисунок Пушкина на недавно опубликованный в «Неделе» (№ 16, 1988 г.) И. Бочаровым и Ю. Глушаковой дружеский шарж на Надежду Осиповну Пушкину, сделанный крепостным художником Бутурлиных Иваном Бешенцевым. Рисунок относится к годам пребывания Пушкина в Лицее. Надежда Осиповна учится рисовать под наблюдением учителя. Лицо ее на сей раз обращено вправо, правый локон, более короткий, та же бровь, тот же рот и пухлый подбородок, та же шея, что на рисунке сына. (На портрете Ксавье-де-Местра шея несколько удлинена по тогдашнему канону красоты.) И наконец, то же выражение напряженного внимания, как на рисунке Пушкина.

Под профилем матери два неизвестных женских профиля. А под ними дивная головка мальчика 2—3 лет, высокий прямой младенческий лоб с намеченным завитком кудрей, вздернутый, курносый носик, широко раскрытый внимательный глаз. Рукопись относится к 1835 году, и у нас есть основания предположить, что перед нами сын Пушкина, двухлетний Сашка. Сходство его с профилями бабушки и тетки подчеркнуто.

Как возник портрет матери именно на рукописи «Египетских ночей»? Может, в окружении Клеопатры были такие гречанки с примесью эфиопской, нубийской крови? Но дело тут совсем не в этом. «Мать у нас умирала, — пишет поэт брату Льву Сергеевичу в том же 1835 году, — теперь ей легче, но не совсем. Не думаю, чтоб она долго могла жить».

В воспоминаниях М. Н. Макарова, видевшего Пушкина — ребенка у Бутурлиных, мы находим ту же меру светскости и поэтического дара, какую прививали поэту в детстве высокообразованные светские женщины, какую мы видим у Чарского. «Графиня Анна Артемьевна (Бутурлина) необыкновенная женщина в светском обращении и приветливости, чтобы как-нибудь не огорчить молодого поэта, может быть, нескромным словом о его пиитическом даре, обращалась с похвалою только к его полезным занятиям, но никак не хотела, чтоб он показывал нам

свои стихи». Примерно тот же стиль, думаю, был и у Надежды Осиповны. Чарский из «Египетских ночей» — как бы итог такого воспитания. Подчеркивая свой аристократизм, он скромнен как поэт. То же пишет М. Н. Макаров: «Молодой Пушкин, как в эти дни мне казалось, был скромный ребенок», добавив при этом: «Он очень понимал себя». Ну, прямо-таки Чарский!

И еще эпизод из воспоминаний Макарова: «...Множество живших у графини молодых девушек, иностранок и русских, почти тут же окружили Пушкина с своими альбомами и просили, чтоб он написал для них что-нибудь. Певец-дитя смешался». Такого рода внимание вспоминалось им как кошмар и в Лицее. В стихах «Дельвигу», вспомнив отношение В. Л. Пушкина к своему детскому стихотворству («Мой дядюшка поэт На то мне дал совет И с музами сосватал»), поэт как бы дает и нам услышать голоса этих девушек, уже в детстве обступавших его со своими альбомами:

Вы пишете стишки;
Увидеть их нельзя ли?
Вы в них изображали,
Конечно, ручейки,
Конечно, василечек,
Иль тихий ветерочек,
И рожи, и цветки.

Та же пошлость преследовала его в зрелые годы и была ненавистна ему, как в детстве: «Задумается ли он о расстроенных своих делах, о болезни милого ему человека, тотчас пошлая улыбка сопровождает пошлое восклицание: верно, что-нибудь сочиняете! Влюбится ли он? — красавица его покупает себе альбом в Английском магазине и ждет уже элегии». И самое несносное: «Приедет ли он к человеку, почти с ним незнакомому, поговорить о важном деле, тот уж кричит своего сынка и заставляет читать стихи такого-то: и мальчишка угощает стихотворца его же изуродованными стихами».

Как, наверное, Пушкин был благодарен своим родителям, что эта пошлость не омрачила его детских дней, что его не заставляли из родительского тщеславия читать друзьям Пушкиных, скажем, Дмитриеву или Карамзину, их же собственные стихи, которые маленький Пушкин, конечно же, знал наизусть.

«В самом младенчестве, — вспоминает отец поэта, — он показал большое уважение к писателям. Не имея шести лет, он уже понимал, что Николай Мих. Карамзин — не то что другие. Одним вечером Н. М. был у меня, сидел долго, во все время Александр, сидя против него, вслушивался в его разговоры и не спускал с него глаз. Ему был шестой год». Таким же изображен Пушкин и постарше в воспоминаниях Макарова: «...Никогда не вмешивался в дела больших и почти вечно сживал

как-то в уголочке, а иногда стаивал, прижавшись к тому стулу, на котором угораздывался какой-нибудь добрый оратор, басенный эпиграммист, а еще подле какого же нибудь **графчика чувств**, этот тоже читывал и проповедовал свое, и если там или сям, то есть у того или другого, вырывалось что-нибудь превыспренне-пиитическое, забавное для отрока, будущего поэта, он не воздерживался от улыбки. Видно, что и тут уж он очень хорошо знал цену поэзии».

Таким воспитали его родители. Не только чуждым тщеславия, но и презирающим его в других.

Итак, вечер импровизатора в «Египетских ночах». «Все ряды кресел были заняты блестящими дамами». Но никто не решился назначить темы импровизатору. Чарскому пришлось подать пример. «Наконец, одна некрасивая девица, по приказанию своей матери, со слезами на глазах написала несколько строк по-итальянски и, покраснев по уши, отдала их импровизатору». Мы вместе с автором жалеем скромную девушку, «между тем как дамы смотрели на нее молча, с едва заметной усмешкою». Девушка положила записку с темой «Клеопатра и ее любовники». Импровизатор попросил разъяснений. «Никто не торопился начать. Несколько дам оборотили взоры на некрасивую девушку, написавшую тему по приказанию матери. Бедная девушка заметила это неблагоприятное внимание и так смутилась, что слезы повисли на ее ресницах». Не эту ли девушку мы видим рядом с так похожей на Пушкина девичьей головкой на черновике «Египетских ночей»?

Чарский выручил ее и сказал, что тема предложена им. Но будь на месте Чарского сам Пушкин, через кого передал бы он импровизатору вторую тему? Мне кажется, через мать, самого близкого ему человека в большом свете. А Ольга Сергеевна была настолько покорна матери, что ее, невесту по тем временам перезрелую, брат должен был чуть ли не похищать из родительского дома, чтобы наконец выдать замуж.

Итак, Надежда Осиповна и Ольга Сергеевна Пушкины как бы присутствуют в «Египетских ночах» и на рисунке, и в тексте.

В то время Пушкин много думал о предстоящей смерти матери и о будущем своего маленького сына. Вот он и изобразил его на одном листе с Надеждой Осиповной:

И наши внуки в добрый час
Из мира вытеснят и нас.

«Посмотрим, как-то наш Сашка будет ладить с порфиородным своим тезкой, с моим тезкой я не ладил. Не дай бог ему идти по моим следам, писать стихи, да ссориться с царями! В стихах он отца не перещеголяет, а плетью обуха не перешибет»,— писал он жене. Александр Александрович Пушкин словно бы внял предостережениям отца и как военный был страшен не двум своим царственным тезкам, а только их внешним врагам.

Можно предположить, что это прелестное младенческое лицо связано не только с Сашкой, что тут прошли воспоминания о бедном Николенке и о маленьком Левушке, чье младенчество старший брат, конечно, прекрасно запомнил. Может, и себя он вообразил в младенчестве. В самом рисунке ощущается доброта, тепло, нежность. Вот что Пушкин желал всем младенцам на свете:

Дитя, не смею над тобой
Произносить благословенья.
Ты взором, мирною душой,
Небесный ангел утешенья.
Да будут ясны дни твои,
Как милый взор твой ныне ясен.
Меж лучших жребиев земли
Да будет жребий твой прекрасен.

Бывают странные сближения. Если бы Пушкин, как Фатам из его лицейского романа-сказки, двигался от зрелости к началу своему, то ему до полного исчезновения во мгле, предшествующей рождению, оставалось бы почти столько же времени, сколько исполнилось изображенному им младенцу.

Он очень часто, всю жизнь, возвращался путем Фатам в свое детство. Проживи дольше, глядишь, и написал бы на «веселом закате» свой обещанный читателям «Онегина» роман на старый лад, где были бы «преданья русского семейства, Любви пленительные сны И нравы нашей старины». Детство было неисчерпаемым источником для его творческой памяти и фантазии.

Итак, ключ, который Пушкин подобрал к жизни Байрона, подходит и к его собственной биографии. Пользуясь им и опираясь на воображение, интуицию, тщательное сопоставление свидетельств, рассеянных по самым разнообразным его сочинениям, можно многое узнать и о его детстве. А ведь мы еще почти ничего не сказали ни о Н. М. Карамзине, ни о В. Л. Пушкине, ни даже об Арине Родионовне... Тут, конечно, нужно сопоставление самых разных материалов.

Арина Родионовна вначале была няней Ольги Пушкиной, у Александра была своя няня — Улиана. Потом Арина Родионовна стала общей няней для брата и сестры. Строчки из черновика «Онегина» про Филипповну, которая учила Ольгу читать «Помилуй мя», «поутру наливала чай и баловала невзначай» — это скорее рассказ о детстве Ольги Сергеевны. Для Пушкина же главным в его детском общении с няней было:

Расскажи-ка, няня,
Про ваши старые года.

Эти рассказы и сказки заменили ему всю детскую литературу:

...Внимать ее рассказам, затверженным
Сыздетства мной — но все приятным сердцу,
Как песни давние или страницы
Любимой старой книги, в коей знаем,
Какое слово где стоит...

Опять свое, глубоко личное, поэт осмысляет как общечеловеческое, понятное каждому. Пусть Арина Родионовна была только у него и у его сестры. Зато у каждого были и «песни давние», и «страницы любимой старой книги». Даже Онегину в момент некоего душевного очищения, вызванного запоздалой, безнадежной любовью к Татьяне, чудится «старинной сказки вздор живой». Без этого «вздора», идущего из раннего детства, человек, как бы ни был он умен, блестящ и одарен, все-таки может «в любви считаться инвалидом» и даже вызывать вопрос: «Уж не пародия ли он?»

Что же касается «песен давних», то есть идущих от самого раннего детства, то две из них поэт однажды назвал: «За морем синица не пышно жила» с ее столь забавной для детского ума пародией на людскую иерархию, и «По улице мостовой шла девица за водой», сразу и удаляя и нежная, с великолепным простонародным диалогом. Их бы исполнять в дни рождения Пушкина! Нет, поэт остался верен и песням давним, и «рассказам, затверженным сыздетства». Страницы любимой старой книги не вычеркнуты из памяти сердца. И все же этот отрывок не вошел в основной текст стихов «Вновь я посетил».

Поэт берег воспоминания детства до поры, которая так и не наступила.

В 1830 году он писал Н. С. Алексееву: «Пребывание мое в Бессарабии доселе не оставило никаких следов ни поэтических, ни прозаических». Как не оставило? Одни «Цыганы» чего стоят! Но Пушкин продолжает: «Дай срок — надеюсь, что когда-нибудь ты увидишь, что ничто мною не забыто». То же, наверное, он мог сказать и о своем детстве, вот только сроку не дали.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Невольная исповедь Пушкина	3
«И я считал когда-то восемь лет...»	30
Нестерпимое состояние	43
Фатам, или разум человеческий	53

РАННЯЯ ЛЮБОВЬ ПУШКИНА

БЕРЕСТОВ Валентин Дмитриевич

Редактор А. Ю. Чернов

Технический редактор Т. Я. Ковынченкова

Сдано в набор 22.05.89. Подписано к печати 26.07.89. А 08891. Формат 70 × 108^{1/32}.
Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,80.
Усл. кр.-отг. 2,98. Уч.-изд. л. 3,93. Тираж 150000 экз. Зак. № 720. Цена 25 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской революции типография имени В. И. Лени-
на издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.